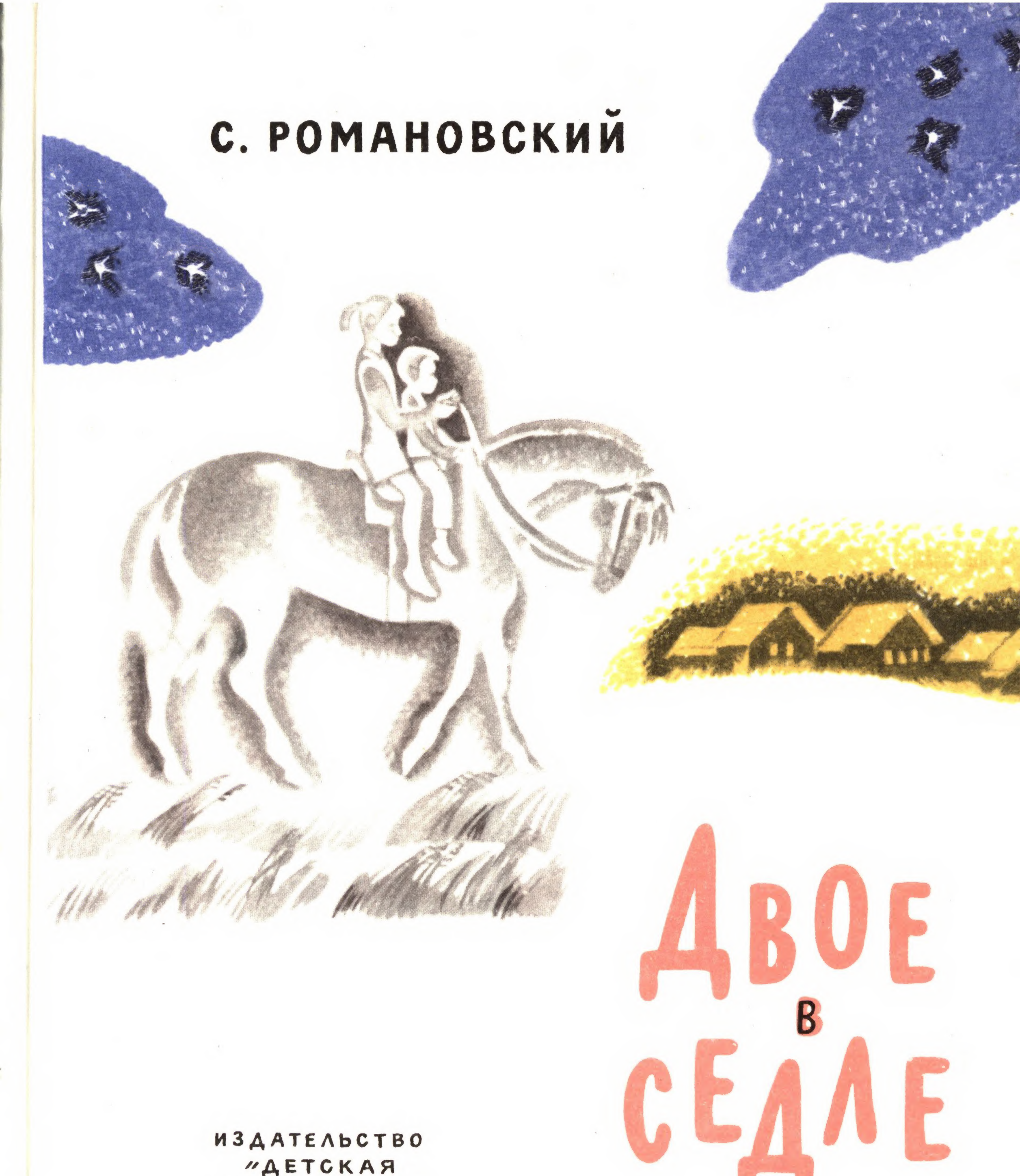
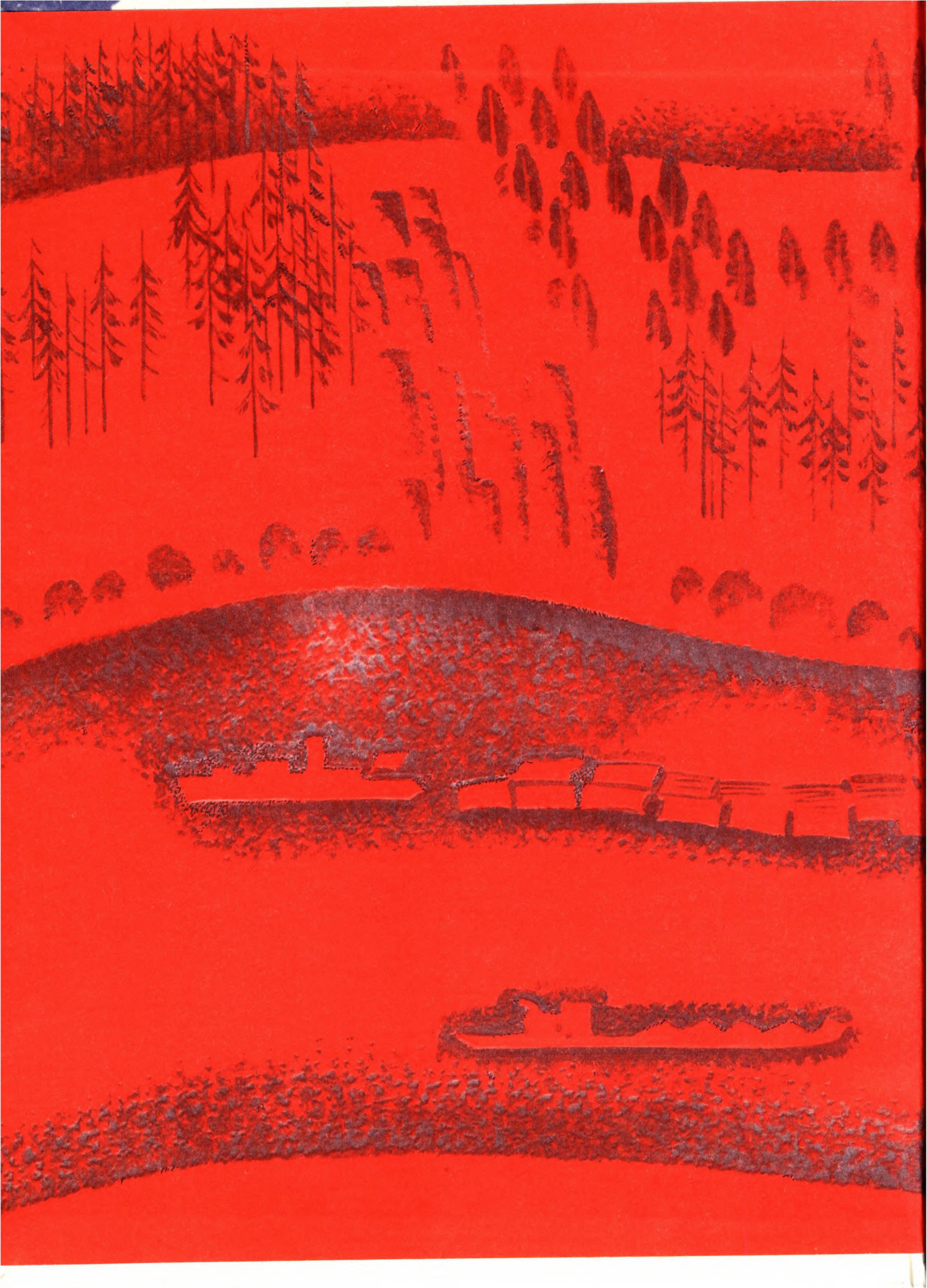
С. РОМАНОВСКИЙ



ДВОЕ В СЕДЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"





С. РОМАНОВСКИЙ



ДВОЕ В СЕДЛЕ

РАССКАЗЫ

ХУДОЖНИК
М. УСПЕНСКАЯ

МОСКВА "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1981

Р 2
Р 69

$Р\frac{70802-048}{М101(03)81}205-81$



ЗЕЛЁНЫЙ ПЕТУХ

Ветви на верхушке ели походили на петуха: одна ветвь распушена веером — это хвост, другая, с бородкой и гребнем, вскинута в небо — это голова. Взобрался зелёный петух на самую вершину и на радостях, оттого что далеко видно или по какой другой причине, поднял голову и запел на все окрестные леса.

Только он беззвучно запел, потому что петух этот — одно сплетение ветвей.

И не всякий человек его углядит. Сколько грибников, ягодников и охотников побывало в лесу, а спросите их про ёлку,

чья макушка похожа на петуха. Редкий человек скажет, что видел её.

А проходить мимо каждый проходил: ёлка эта недалеко от дороги, от кордона.

Наверх люди не смотрят, что ли?

Да нет, смотрят...

Алёша жил на лесном кордоне и этого петуха знал с тех пор, как помнит себя.

Зимой пошёл Алёша с отцом на охоту. Деревья в снегу. Петух сверкает, как цельнокованый из серебра.

— Красивый какой! — дивился на петуха Алёша.— Хвост распустил. И поёт! И поёт! И поёт! И день поёт. И ночь тоже поёт. Отдыхает ли когда? А что он поёт-то? Какую песню?

Ответить отец не успел. Прилетели две сороки, не испугались петуха нисколько и безо всякого уважения стали прыгать по нему и трещать:

«Тра-та-та-та-та-та!»

— Эй, вы, пулемётчицы! — обратился к ним отец.— Чего расшумелись-то? По какому случаю?

И сороки улетели.

— Сынок, ты о чём спрашивал? Что петух поёт? О, это длинная история! Такой петух видит далеко, и песня у него не простая. А какая она? Она...

Только он собрался ответить, откуда ни возьмись — с неба, что ли? — опустилась на дерево стая блестяще-чёрных, тяжёлых птиц. Брови у них красные, а хвосты раздвоены и изогнуты в обе стороны, как лиры.

Не стало петуха.

Нету его.

В несколько этажей сидят по всей ёлке краснобровые птицы. Пригнули они ветки, лапками под собой переступают. И слышно: сыплется с дерева снег, шуршит, под ноги стелется:

«Шишки... Шишки... Шишки...»

Отец чихнул — с шумом поднялись птицы в воздух и улетели. А вся ёлка задымилась снежным дымом, и дымилась она долго.

Качались ветви-лапушки, и не видно было, тут петух, или нет, или больше не будет его никогда.

Где он?

Здесь петух! Вон он колышется. Пригнули его было тетерева, улетели, и теперь он выпрямился.

— О чём же он поёт?

— О чём поёт-то? — вспомнил отец.— Да ни о чём. «Ку-ка-ре-ку!» По-другому петухи петь не умеют. Может, в больших городах какие-нибудь учёные петухи есть. И за хорошее угощение они поют, как соловьи. А наши деревенские жарят одно и то же: «Ку-ка-ре-ку!» А этот — молчун. Его и «Ку-ка-ре-ку!» не научишь. А посмотреть на него со стороны — трубач трубачом. Певец. Дарование. Только что безголосое.

Зиму и весну неслышно трубил петух по-над лесом в небо. Был он и белым от снега, и серебряным от инея, и голубым ото льда, от сосулек, и словно бы поник, похудел.

К теплу петух распушился, пополнел и зазеленел. А на зорях наливался он косматым, изумрудно-золотым светом, и гребень его переливался золотом. Того и гляди: взмахнёт петух широкими, тугими смолистыми крыльями и улетит.

Куда?

Ему одному ведомо.

Но петух не улетал.

Он был не настоящий петух. Настоящий бы не усидел на одном месте столько времени. Терпения у него не хватило бы. А всё равно — хороший он! Садилось солнце, и внизу на кордоне было темно. А у петуха гребень был золотой, а борода и хвост бордовые. У него наверху ещё долго гостило солнышко.

Пошли грозы.

Проливались они на лес ночами, и отец хвалил их:

— Грозы-то умные нынче. Днём дают людям поработать. А ночью землю поят. Дают хлебам расти. Рабочий человек и при грозе уснёт.

— А я — бездельница? — обижалась мать.

Отец отвечал смирнее смирного:

— Труженица ты...

— Так почему они гремят и мне спать мешают? — жаловалась мать.— Потише-то разве нельзя?

Отец виновато молчал, словно из-за него ночами гремели грозы.

— Пошли-ка, сынок, погуляем.

— Пройдёмся — промнёмся! — обрадовался Алёша.— Петуха посмотрим.

Они вышли в лес, мокрый насквозь.

Петуха на маковке ёлки не было. А были огруженные влагой ветви. Они прижались к стволу дерева и озябли после грозы.

— А петух-то где? — всхлипнул Алёша.

Отец приложил палец к губам и повёл глазами в просвет между папоротниками. Туда, мол, смотри, на брусничник.

Алёша посмотрел туда и не сразу разглядел на земле огромную, с Алёшу, буровато-рыжую птицу.

Позабыл обо всём на свете Алёша.

Птица пила из лосиного следа, как из чайного блюдца. Наклонится, наберёт в клюв воду, откинется, дождётся, когда вода протолкнётся в горлышко, опять наклонится...

Вот она закудахтала басом, от которого холодок прошёл по спине Алёши, и села на нижнюю ветвь ели. Ветвь прогнулась и хрустнула. Птица опустилась на землю, опять закудахтала басом, и в брусничнике началось движение. Великанская птица уходила в ягодник, а по бокам её, слева и справа, двигались рыжие, с курицу, птенцы.

Тихо стало, прохладно.

— Глухарка глухарят собирала,— сказал отец шёпотом.— Собрала, повела в надёжное место. Хорошая она мать — глухарка. За-ме-ча-тель-на-я! А голос-то у неё — ты слышал какой? Бас! Ни у кого такого голоса не сыщешь. Разве что у певца какого-нибудь. У знаменитости...

И погладил Алёшу по голове.

— Удача у тебя, сынок,— сказал он.— Редко кто глухарку видел и слышал. Вот так, как мы с тобой. В кино её не покажут — не пожелает она сниматься в кино.

— А петух-то? — спохватился Алёша.

Лес просыхал, курился, ветви распрямлялись, и мало-помалу объявился петух. Распустил хвост, задрал голову с гребнем и бородой и запел.

Жалко, не слышно, как он поёт, сколько ни прислушивайся.

А вот как лес поёт после грозы, слышно.



Стекают с листьев капли — то одна по одной, то россыпью, а то разом прольются светлым проливнем, если лось нечаянно заденет за дерево. Вздыхают, поднимаются, растут травы, от чего шевелится прошлогодний палый лист, и шевеление это на слух походит на листопад, до которого ещё очень далеко. Птицы пробуют голоса — сперва робко, невнятно, подражают каплям или друг дружке и не хотят выделяться из общего шороха просыхающего леса. Потом поют смелее, отчётливее, звонче! И каждую птицу можно отличить и назвать по голосу.

КОРОВУШКА

Лукошко у Алёши прохудилось, а сплести новое отцу всё было некогда.

— Не сплетёшь ты его никогда,— говорил Алёша.

— Сплету,— пообещал отец.— Поляну выкошу и нынче же сплету.

— Ты возьми эмалированное ведро вместо лукошка,— посоветовала мать.— Да походи около кордона. Грибов нынче много.

По росе Алёша с ведром вышел по грибы. Из-под ног выпархивали мокрые златокрылые папоротники и обдавали мальчугана влагой, а рядом, в низине, еле слышно пела речка Танайка. Алёша только-только стал спускаться к воде, как поскользнулся, выпустил ведёрную дужку, и ведро с грохотом покатилось в овражные сумерки. Оно обрушилось в речку и заперло её. На какое-то время речка Танайка замолчала вовсе, а потом запела с бульканьем и чмоканьем, словно вспомнила что-то и торопится выговориться.

Ведро лежало горловиной против течения, и речка Танайка пенилась, разговаривала на разные лады и обегала ведро по обе стороны.

— Эх ты! А хорошо теперь она поёт,— заслушался Алёша,

убрал паутину с лица и увидел на руке кровь.— Поцарапал, видно, лицо-то, пока гнался за ведром...

Пожалеть себя Алёша не успел — на том берегу, на хвойной выстилке он заметил грибы. Шляпки были маслянистые, присыпанные хвоей. Алёша начал их считать и услышал, как кто-то шумно дышит в затылок.

Мальчуган не испугался. Такое дыхание было ему знакомым. Он обернулся, и его обдало паром. Корова дышала ему в лицо, и, зажмурясь, Алёша окликнул её:

— Добрыня!

Но это была не их Добрыня, а другая коричневая незнакомая корова.

Алёша подался от неё, а корова с негромким мычанием пошла за ним.

Он остановился, вспомнил, как мать учила его доить, и обеими руками дотронулся до красного коровьего вымени. Корова вздрогнула, и в ответ тихо вздрогнули Алёшины руки и погладили вымя, переполненное молоком.

— Погоди-ка!

Алёша выдернул ведро, которое успело замыть песком, и речка, всхлипнув, опять запела негромко, как пела всю жизнь.

Мальчуган чисто-начисто ополоснул ведро в воде и поставил его под корову. Руки показались ему холодными, и он, как это делала мать перед дойкой, подышал на них, пока они не согрелись.

Молоко брызнуло сквозь Алёшины пальцы и покатилось по земле жирными белыми каплями.

Алёша беззвучно заплакал, оттого что пропадает добро, и поставил ведро прямо под выменем. А потом погладил вымя и уловил, как корова нетерпеливо подрагивает и ждёт, скоро ли начнётся доение. От Алёшиных прикосновений молоко как бы само текло в ведро, и оно всё глуше гудело от молочного дождя. Всем собой Алёша слышал, как коровушке легче от его усилий.

А в ведре выше краёв поднималась белая пена, и Алёша почувствовал, как коровушка лижет его — языком прибирает волосы на прямой пробор. И дыхание у неё, как пар из бани. Дышать трудно из-за её дыхания...





Обеими руками Алёша оторвал от земли ведро с молоком и отнёс его на траву.

— Нашлась!

Алёша вздрогнул от этого голоса, сорванного на ветру.

— Нашлась, голубушка.

Это говорил лесной объездчик Исай Никандрович Головин, что, кряхтя, спускался в овраг.

— А мы тебя второй день ищем. Перегорело молоко-то?

Алёша подал голос:

— Исай Никандрович! Я её подоил...

Лесной объездчик взялся за сердце:

— Как ты меня напугал!

— Не хотел я вас пугать,— повинился Алёша.— В мыслях не было пугать-то...

— Знаю,— сурово оборвал лесной объездчик.— Знаю. Ты не считай, что я испугался. Я, бывает, не боюсь, а вздрагиваю. Ты, Алексей, правильно сделал, что подоил. А то перегорело бы в ней молоко-то! Вот это я понимаю. Такую корову днём с огнём не найти. Можно сказать, клад. По ведру даёт, а? Доилась-то она спокойно? Не капризничала?

— Не замечал,— ответил Алёша. И попросил: — Ведро-то возьмите...

— Да ты что, Алексей? — горячился Исай Никандрович.— Мне его до дому по жаре пятнадцать вёрст нести? Чтобы оно прокисло? Тебе меня жалко или нет? Мне кому спасибо-то говорить — тебе или себе, что молоко в ней не перегорело?

Он подобрал прутик, погнал корову из овражка, а на прощание наказал Алёше:

— Отцу с матерью кланяйся. Если они помнят меня.

— Как они вас могут не помнить? — удивился Алёша.— Соседи всё же...

— Знаю,— кивнул Исай Никандрович.— Всякие бывают соседи. Пошли, голубушка! Пошли...

Корова оглядывалась на Алёшу, и долго трещали ветки там, куда гнал её лесной объездчик.

А потом затихли.

С отдыхом, не пролив ни капли, Алёша вынес ведро из овражка, передохнул, огляделся. Он стоял по плечи в мокрых златокрылых папоротниках и был весь мокрый — хоть одежду

выжимай! — от росы. Лес дымился росой, и дым этот доставал до красных стволов сосен и пропадал там, наверху, где гостило солнце.

Дома он поставил молоко в погреб, чтобы не прокисло, и стал дожидаться родителей. Они пришли с сенокоса вечером, и Алёша рассказал всё, как было.

Его слушали, как большого, и не перебивали.

Мать спустилась в погреб, вернулась и сказала:

— Молоко-то не хуже, чем у Добрыни. Масло из него собьём, а то своего молока девать некуда. Блины испечём и на них пригласим Исая Никандровича. Масла я на них не пожалею...— И ахнула: — У тебя, сынок, царапина на лице!

А отец прибавил:

— Ты не расстраивайся: заживёт не до свадьбы, а много раньше заживёт.

— Ты ему лучше до свадьбы лукошко сплети. Обещал нынче сплести, а забыл,— напомнила мать.— А то грибовницы мы так и не попробуем.

— Да не забыл я, а устал! — оправдывался отец.— Руки от косьбы болят — пальцем не шевельнуть. Завтра поляну до обеда уберём — и сплету. Отвык от косьбы за зиму. А привыкать некогда: работать надо, пока погода, пока дождей нет. Кто её знает, какой она завтра будет?

Алёша слушал, смотрел на распухшие отцовы руки и жалел их.

«Ничего,— думал он.— Подожду с лукошком-то. Потерплю. Я и с ведром на то место сбегаю, где грибы остались. А то в подол рубахи наберу. Долго ли умеючи?»

И вспомнил маслянистые шляпки, припорошённые хвоей, речку Танайку, запертую эмалированным ведром, и коричневую корову, которую прутиком гонит Исай Никандрович Головин и понукает её: «Пошли, голубушка! Пошли...»

ВОРОНЬЯ ТРОПА

Тропа вела вдоль леса и вдоль поля, где ветер гнал невысокие зелёные волны.

«А я по лесу иду или по полю? — думал Алёша.— После каникул сочинение придётся писать... «Как ты провёл лето?» Что я про это место напишу? Тропа и в лес не заходит, и в поле не забегает. Не буду я писать про неё — скучная она. А думать заставила: «По лесу я иду или по полю?..»

И замер Алёша: навстречу по тропе шла ворона.

Большая.

Одета строго и благородно. Крылья чёрные. Грудь серая. На груди — короткий тёмный галстук.

Идёт ворона вперевалку и взлетать не собирается.

Прямо на Алёшу идёт.

Алёша посторонился. Не в поле свернул — хлеб топтать нельзя,— а в лес.

Человек и птица разошлись с миром.

Долго ли, коротко ли шёл Алёша и размышлял:

«Испугался я или нет? Не похоже, что испугался. Удивился я! Почему птица с крыльями пешком ходит? Или воронёнок это — большой, да нелётный? Вывалился из гнезда. Летать не научился. Вот и бродит по белу свету, пока крылья не окрепнут. Или ворона эта раненая, больная? Летать сил нет, а ноги ходят. И держит путь она к воде — к речке Танайке или к роднику на Каму. Мне отец рассказывал: для раненых или больных птиц или зверей вода — первое лекарство. Пьют они воду, пока пьётся. Лечебные травы едят или ягоды. Врачей у них нет. Догоню её и помогу чем-нибудь...»

Побежал Алёша по тропе обратно.

Нету вороны.

Не улетела ли?

Да нет — вот она. Пешком странствует. В том же чёрном фраке. В серой дымчатой манишке. Галстук тот же — тёмный, короткий, ворсистый.

Важная она.

Не идёт, а шествует и на Алёшины шаги головы не поворачивает.

Как бы узнать, не требуется ли ей помощь? А если требуется, то какая?

Можно спросить, да не поймёт она русского языка. И Алёша без переводчика не разберёт её разговор. Учёные пишут, что в вороньем языке не менее сорока слов. Столько слов запомнить нетрудно. Да где такой словарь взять? Где его продают? В каком магазине? Тут нужен словарь не простой, а музыкальный...

Шаг в шаг идут птица и человек.

Ворона на ходу голос подала — горловой, низкий, вкрадчивый такой звук.

Тут же с ближней сосны снялись две вороны и закружились над тропой.

Сперва их было две, а вскоре стало больше. Не сосчитать, сколько.

Разгорелось над Алёшей клубящееся красное солнце. И погасло. Закрыли его вороны, заслонили, заклубились грохочущим чёрным столбом.

И такие громкие слова кричат, каких, может быть, ни один учёный не слыхивал. И не вошли они в словарь из сорока слов...

Каркают вороны. Пикируют на Алёшу. Обдают ветром крыльев. Налетают грудью. Готовы сбить человека наземь, а не дать в обиду птицу на тропе.

Повернулся Алёша, побежал, а вороны его преследуют. Ещё громче кричат.

Да что же это делается-то?

Убежал Алёша в лес, мчался, не разбирая дороги, запнулся о корень, упал, не ушибся, отлежался.

Прислушался.

Тихо. Тише тихого.

Слышно: крадётся мимо лица по прошлогодним листьям землеройка. С хоботком. И вся она — млекопитающее! — не больше большого жука.

Чихнул Алёша — не стало землеройки.

И опять тишина.

Прилетел дятел, простукал старую сосну — сперва сверху

донизу, потом снизу доверху, выбрал рабочее место и принялся работать, как в кузнице. Между делом дятел из-за ствола выглядывал, сверху вниз смотрел на Алёшу, словно укорял его: «Чего лежать-то среди дня? Ты ещё ничего не сделал, а притомился. Я вот с утра до ночи лес лечу, а ты?»

Встал Алёша, отряхнулся, побрёл домой и выбрел на ту самую тропу, что спешит между лесом и полем.

Не туда попал человек, куда загадывал. По тропе ворона навстречу идёт.

Та самая.

Вперевалку движется. Приближается. Увеличивается в размерах. Говорит всем своим видом:

«Посторонитесь!»

Жутко стало Алёше.

«Посторонитесь!!»

Птицам назначено по небу летать, а не по земле путешествовать...

«Посторонитесь!!!»

А что будет, если змеи примутся по облакам порхать, а птицы в норы попрячутся?

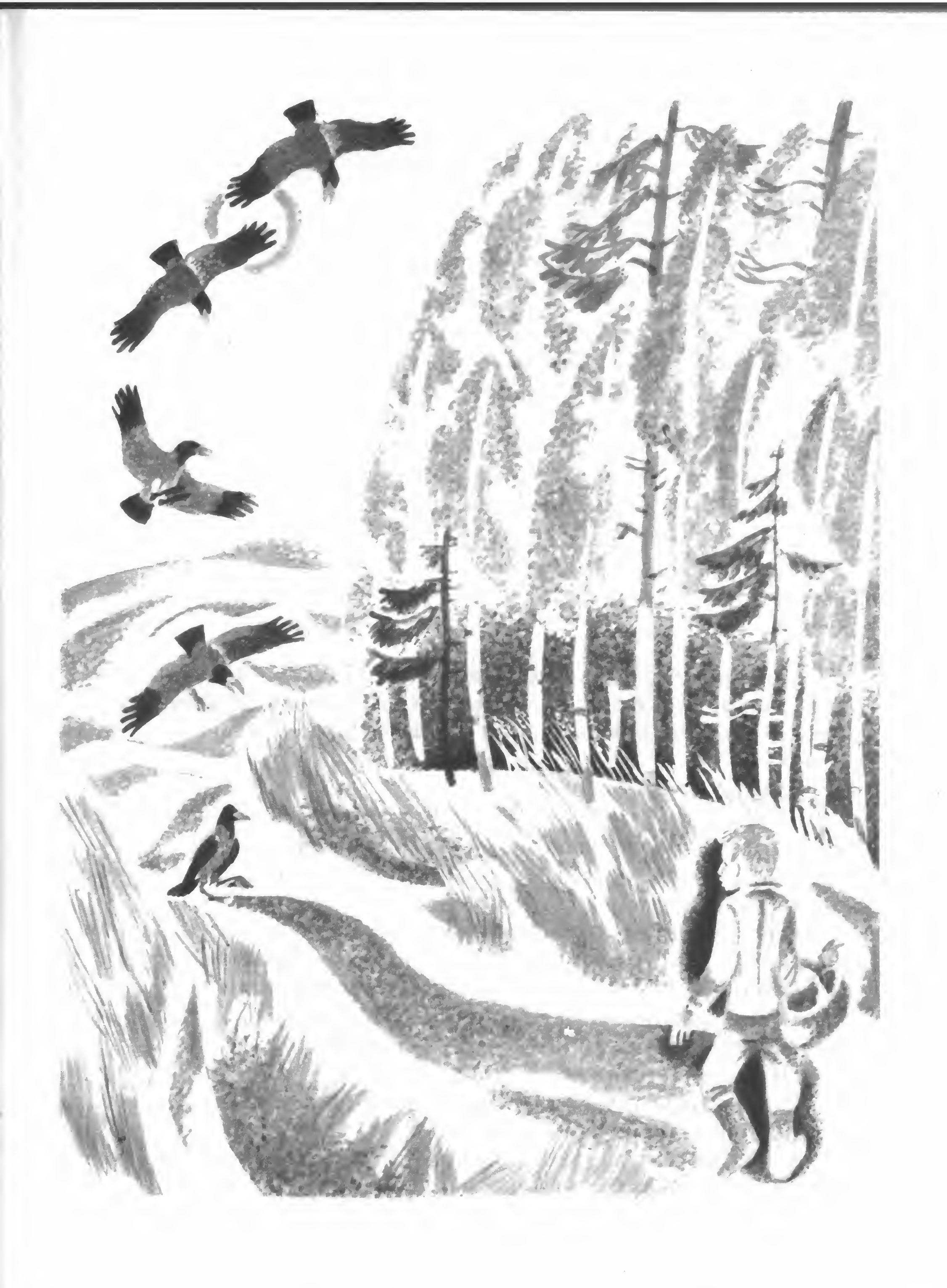
Повернул Алёша в лес и побежал домой. На этот раз он зорко смотрел, чтобы не заплутаться и попасть на кордон, домой, к родителям, а не на воронью тропу.

ШАПКА

Алёша был совсем маленький, когда пришла зима.

Долго она не раздумывала, а сразу высыпала на землю весь снег, который припасла на месяц вперёд.

Алёша надел шубу, шапку, валенки, варежки, вышел на крыльцо и зажмурился. Такой белизны он прежде не видел. Хоть не смотри на неё, а беги обратно домой и сиди в тёплой горнице, где тоже светло, да не так.



Мало-помалу глаза привыкли к белому дню, и, проваливаясь в снегу, мальчуган прошёл со двора на лесную поляну.

Вокруг собрались белые деревья и ветви опустили — попробуй удержи на весу столько снега.

Таких красивых деревьев Алёша прежде не видел.

Он подумал:

«На ту ли поляну я попал?»

Одумался:

«На ту — на какую ещё? Вон наш дом с трубой и дымом. Другой поляны около нашего дома нету».

Алёша снял варежки, потрогал снег — пушистую спинку.

— А я из тебя сейчас снежок слеплю! — пообещал Алёша и недалеко от себя увидел шапку.

Лежит на белом снегу красная шапка.

Круглая, тёплая. Хорошая шапка!

Чья она? Не его — не Алёшина. У Алёши шапка заячья, серая. И у отца серая. А эта красная.

На всякий случай у себя на голове Алёша потрогал шапку. Тут ли она?

Тут.

А на снегу всё-таки чья шапка-то? Видать, прохожего человека. Забрёл он сюда, засмотрелся на деревья, запрокинул голову, не заметил, как шапка упала, и пошёл дальше. Ничего, вернётся!

Или по-другому было?

Испугал прохожего человека лесной зверь — волк или медведь. Побежал от лесного зверя прохожий человек, шапку потерял и не помнит, где. Да нет — вспомнит, придёт на кордон и спросит:

«Не находили ли мою шапку, люди добрые? Не подобрали ли? Где-то тут уронил. А где — не соображу».

«Находили,— скажет Алёша.— Красная шапка-то?»

«Конечно, красная! — обрадуется прохожий человек, и Алёша отдаст ему шапку.— Вот спасибо-то!»

«Ничего не сто́ит».

Только находку надо домой нести, пока снегом не занесло.

Подошёл мальчуган к шапке.

А она ка-аак ворохнётся, плеснёт в лицо колючим снегом, взметнётся красным вихрем и на махах уйдёт в чащу.



Только её и видели.

Кто же это был-то, а?

Лиса — кто же ещё!

Свернулась клубком посреди поляны, нос в мех спрятала. Алёшу близко подпустила. Чего его бояться-то — маленький он. Был бы большой — не стала бы лиса на виду по полянам разлёживаться.

А варежки?

Обернулся Алёша.

Сидят на снегу два красных снегиря — две варежки. Подойти к ним — упорхнут, и ни за что не поймаешь.

Вот тогда достанется Алёше от матери. Сколько она всяких грустных слов скажет:

«Я в городе красных ниток достала. Тебе первому варежки связала. С узорчиками. Думала: «Износу не будет». А ты надеть не успел и упустил. Как же так — снял и бросил. Это же додуматься надо!»

Подкрался Алёша к красным птицам. Одну схватил. Вторую. Не улетели они, а дались в руки. И не птицы это, а Алёшины варежки. Только нахолодали, пока он за лисой ходил.

Пришёл Алёша домой.

— Что мало гулял, сынок? — спросил отец.

А мать заахала и заохала:

— Я только-только полы вымыла, выскребла, а ты снегу в квартиру натащил! Иди в сени, отряхнись как следует.

В сенях Алёша отряхнулся от снега, в прихожей с помощью матери разделся и рассказал родителям про красную шапку — про лису.

— Эх, ноженьки мои скорые! — вскричал отец, накинул полушубок, снял со стены ружьё.

И выбежал на волю.

Но скоро вернулся и сказал:

— Нашёл я то место, где красная шапка лежала... А по следу... по следу не пошёл.

— Это почему? — спросила мать.

Отец повесил ружьё на стену, снял полушубок и весело вздохнул:

— Не лиса это была! У лисы следы цепочкой, как бусины

на ниточке... А эти следы разбросаны. Собака это была! С соседнего кордона. Она бегает по лесу, то ли красная, то ли рыжая. И не один ты, Алёша, принимал её за лису.

Алёша подумал и сказал:

— Есть хочу...

— Дело! — одобрил отец.— Мать, когда мужичков обедом кормить будешь?

Хозяйка посмотрела на окна: светло — самое столование. И пошла к печи собирать на стол.

СОЛНЦЕ С УШАМИ

В воскресенье вокруг солнца собрался туманный свет и двумя клиньями встал над ним.

— К холодам,— сказал отец.— Солнце с ушами.

— Куда ещё холодней-то! — подала голос мать.— На улице дышать нечем. Ты, Алёша, много не разгуливай, а не то нос отморозишь.

Алёша надел валенки, полушубок, шапку, рукавицы, вышел на волю, и дышать стало больно от мороза. Но домой мальчуган не спешил, он оттягивал то благостное время, когда из холода попадаешь в тепло, и там маковым цветом долго горит лицо.

«Чего бы придумать-то? — соображал Алёша.— Чего бы такое придумать, чтобы дольше побыть на холоде?.. Дров наколю — вот что!»

Он поставил на снег берёзовый чурбак, ударил по нему топором... Топор отскочил и чуть из Алёшиных рук не вылетел!

«Да что он, железный, что ли?» — подумал про чурбак Алёша, собрался стукнуть по нему ещё раз, но не успел. На мороз без пальто выскочила мать, отняла топор, втащила сына в избу и выговорила:

— Нынче на улицу не пойдёшь! Ишь чего выдумал — топором махать!

— Дак, учусь! — оправдывался Алёша.

— Дак, мал ещё топором махать!

— Дак, учусь...

С маминой помощью Алёша расстёгивал полушубок. И было у него хорошее предчувствие: сегодня вся семья будет дома сидеть, и отец расскажет интересное. Когда солнце с ушами, так всегда бывает.

— На печку-то полезешь? — спросил отец.

— Да не знаю ещё,— ответил Алёша и попросил жалобным голосом: — Про дедушку Алексея рассказал бы!

— Сказки он любил — дедушка Алексей,— почему-то застенчиво напомнил отец.— Большинство сказок я позабыл. Вот эту помню...

Он начал сказывать сказку несмело, словно бы стесняясь своего голоса, сперва без выражения, а потом с выражением:

— Жили-были муж с женой. А у них было только скотинки: петух да курочка. Жена говорит:

«Давай делиться».

«Зачем делиться-то? — дивится муж.— Вместе-то лучше продержимся, крепче».

«Раз я сказала: «Давай!» — значит, давай делиться. Мне — курочка. А тебе — петух».

«Не продешевишь ли, жена?»

«Как же я продешевлю-то? Твой петух яиц не несёт. А моя курочка через день по яичку».

Разделились они. Жена курочку от себя не отпускает, кормит её и ест яичницу. А что муж ест, этого я не знаю. Отпустил он петуха погулять. Петух улетел к царю во дворец. А у царя свадьба была, балы давали. Петух сел на дворцовую крышу, на конёк, и запел:

Кукареку!
У царя-царя нет красных штанов.
А у меня есть!

«Слуги! — распорядился царь.— Поймайте этого петуха и посадите в колодец».

Слуги поймали петуха, посадили в колодец. А сверху накрыли крышкой. Петух выпил в колодце всю воду, выбил крышку, сел на конёк и опять кричит:

Кукареку!
У царя-царя нет красных штанов.
А у меня есть!

«Слуги! Поймайте насмехальщика! Посадите в баню да баню-то зажгите! — разгневался царь.— Он сгорит в бане-то».

Слуги поймали петуха, заперли в бане, а баню подожгли. В петухе-то воды — весь колодец! Он пожар залил, сел на конёк и опять:

Кукареку!
У царя-царя нет красных штанов.
А у меня есть!

«Слуги! В амбар его! В сусек! В серебро! — раскипятился царь.— Да поживее! Что вы как варёные? Царь я вам или кто?»

Слуги словили петуха, отнесли его в дубовый амбар, сунули в сусек с серебром, заперли на замок и доложили царю: «Батюшка ты наш! На три замка замкнули издевателя. Крышка ему».

«Вот это другое дело»,— похвалил царь.

А петух склевал серебро, прилетел домой и кричит:

Хозяин, хозяин!
Стели красного сукна:
Денег тащу!

Хозяин обрадовался, занял у богатых соседей красного сукна, постелил на пол. А петух летает по избе, деньги сыплет — только звон стоит. Так целый ворох и насыпал.

Хозяйка давай ругать курицу:

«У мужа какое богатство петух-то принёс! А ты мне ничего».

Курица улетела на поля, поклевала зерна. А для неё зерно всё равно что деньги. Прилетела домой и кричит:

Хозяйка, хозяйка!
Стели красного сукна:
Денег тащу!

Хозяйка обрадовалась, заняла у богатых соседей красного сукна. Курица летает по избе и на красное сукно зёрнышки сыплет.

«Разве это деньги? — заплакала хозяйка.— Бестолковая ты».

И хотела побить курицу, а то и суп из неё сварить. Да муж отговорил:

«Не серчай, жена! Помнишь, я тебе говорил: «Зачем делиться-то?»

«Говорил, не отпираюся...»

«Вон петух сколько добра принёс. Розно-то зачем жить?»

«Ты теперь меня, чай, не примешь?»

«Приму».

С тех пор они стали жить дружно, и никто, ни один человек не слышал, чтобы шум там какой был, или крик, или посуда билась...

— Это ты к чему? — насторожилась Алёшина мать.

Но отец не заметил её вопроса и заключил:

— Вот какую сказку любил дедушка Алексей. По нему тебя назвали, сынок... Много он знал сказок, да вот на войне его убили. Сейчас никто столько сказок не помнит.

— Никто?! — охнул Алёша.

— Никто,— в два голоса подтвердили отец и мать.

Окна в избе цвели ледяными петухами, рыбами, папоротниками, и лёгкий свет их лежал на лицах отца, матери и Алёши, будто они все трое живут не в яви, а в небыли, заодно с этим царством на стёклах. Алёша слышал, как у него всё ещё пылают щёки, а тело под одеждой горит, согревается и никак не может согреться.

И думал Алёша:

«Какой он — дедушка Алексей? Весёлый он был и храбрый. У дедушки медаль была. Я его не видел и никогда не

увижу. А сказку его я наизусть знаю и всё равно смеюсь в самых смешных местах, когда отец рассказывает».

— Сказка — складка. Песня — быль,— сказала мать.

— Спеть хочешь? — спросил отец.

— Как-нибудь спою,— отозвалась мать.

Отец принёс с морозу берёзовых дров, затопил печь и пообещал:

— Если вспомню, ещё какую-нибудь дедушкину сказку расскажу... Всё равно сегодня никуда не пойдём. Солнце-то с ушами. Морозище!..

ЖЁЛУДИ

В начале учёбы Светлана Николаевна объявила классу:

— На днях пойдём в дубраву собирать жёлуди. Соберём мешок желудей.

— Очень мало! — громко пожаловался Никита.

— Действительно,— поддакнула Людмила.

А Алёша смолчал.

— Если соберём больше, нас не осудят. Нас похвалят,— сказала Светлана Николаевна.— А мешок желудей — это не мало. Из них вырастет дубовая роща.

— Только долго ждать, когда она вырастет,— прогудел Никита.

Класс зашумел:

— Ничего, дождёмся!

С тех пор Алёша стал возвращаться из школы кружным путём — через дубраву. В охотку он собирал жёлуди, складывал их под старым дубом, сверху закрывал листьями. И у него набралась горка желудей. Алёша любил пересыпать жёлуди, чтобы они звенели и горели в руках, как монеты. Да что там монеты! Из монеты ничего не вырастет, а из жёлудя вырастет большое дерево. И собою жёлудь пригож: голова золотая, шапка на ней зелёная со стебельком или без стебелька.

Дни были как дни — не холодные, не тёплые. А когда класс нагрянул в дубраву по жёлуди, день выдался на особицу ясный. Земля была толсто выстлана прошлогодним листом, а нынешний лист держался на дубах крепко. Солнце пробивалось сквозь ветви, жёлтым или бордовым огнём светилось на желудях, на опади, на маленьких дубках.

Оно как бы говорило им:

«До больших деревьев дорастайте».

И Алёша, собирая с ребятами жёлуди, нет-нет да и неприкасаемо гладил эти маленькие, по колено ему, дубки.

Дети переговаривались, и эхо иногда повторяло их голоса.

— Я гриб нашла,— радовалась Людмила.— Лисичку. Ни одного червя в ней нет и быть не может. Ребята, если найдёте гриб, не забудьте про меня.

— Сколько я ни пробовал эти жёлуди,— жаловался Никита,— вкуса в них никакого нет. Горечь одна.

— А мы их не для вкуса собираем! — напомнила Людмила.— Наши деревья будут жить в двадцать первом веке. В двадцать втором. И в двадцать третьем тоже. Грибов не нашёл?

— На́,— Никита отдал ей три свинушки,— там ещё были, да червивые.

— Червивые ни в коем случае! — повышала голос девочка.

Никита сопел и отирал пот с лица.

— Жёлуди-то какие маленькие! — жаловался он.— Их и не ухватишь...

— Тебе надо, чтобы с арбуз были? — спрашивала Людмила.

— А я бы арбуз съел! — откровенничал Никита.— В такую-то жару...

— А картошку? — поинтересовалась Людмила.— Там на поляне ребята костёр жгут. Вон Светлана Николаевна рукой машет. Зовёт картошку есть!

— Печёную? — спросил Никита.— От печёнки-то ещё никто не отказывался.

От костра посреди поляны поднимался дым выше дубов и источал запах осени. Над жарником висел чайник, а в золе и угольях доспевала картошка, и палками дети выгребали её из жара. Никита сел на мешок желудей, с ладони на ладонь,



как чёрное горячее ядро, перекидывал картошку, остужал её и не мог дождаться, когда же она остынет.

— Никита,— спросила Светлана Николаевна,— когда же ты в саже-то перемазаться успел? И щёки! И лоб!..

— Чего я такого сделал, Светлана Николаевна? — огорчился Никита.— И сильно я перемазался?

Ответить учительница не успела. Она показала лицом вдоль поляны и прошептала:

— Лиса!.. Только тихо...

Алёша успел увидеть, как, сливаясь с листвой, осиянной солнцем, проскользило рыжее существо со сквозным хвостом и беззвучно исчезло.

Миг, не дольше, дети молчали, а потом заговорили:

— Лиса! Настоящая! Дикая!

— А какая она ещё бывает?

— Всегда дикая!

— Почти всегда...

— Эта линючая-линючая!

— Скоро пушистую шубу наденет,— пообещал Алёша.

— Светлана Николаевна,— сказала Людмила,— мы с Алёшей Веригиным весной на болоте зайца видели. Он сидел на задних лапах. А передними лапами заяц отбивался от комаров. Как человек руками!

— Ты мне про это не рассказывала,— почему-то обиделся Никита.

— Алёша, ты живёшь на лесном кордоне,— сказала Светлана Николаевна.— Рассказал бы, каких ты видел диких животных. Да ты сиди, не вставай. Прожуёшь — тогда расскажешь. Ты с собой пустой мешок захватил. Думал, наверное, что мы наберём два мешка желудей?

— А что, и наберём! — заявил Никита.

Его никто не поддержал.

— Поздно уже,— сказала Светлана Николаевна.— Скоро стемнеет. Кажется, лесник едет. Мотоцикл тарахтит.

На мотоцикле с коляской приехал лесник Исай Никандрович Головин, затормозил у самого костра, поздоровался, попробовал картошку, попил чаю...

«Сейчас я скажу ему про мой запас желудей! — порывался подойти к леснику Алёша, и сердце его колотилось и мешало

дышать.— Одному ему скажу. А то другие осудят: «Алёша Веригин — выскочка!»

Никита собрался было сам положить мешок с желудями в коляску мотоцикла, да лесник не дал.

— Богатырь какой нашёлся! — улыбнулся он.— Мал ты для таких тяжестей.

Крякнул и легко кинул мешок в коляску.

А потом написал расписку, отдал её Светлане Николаевне, поблагодарил ребят за работу и, неспешно объезжая деревья, поехал и пропал из виду.

«Что же я стою-то? — укорил себя Алёша, схватил пустой мешок, побежал на тарахтение мотоцикла.— Догоню! Сейчас догоню! Догоняю уже...»

Он поймал за руку лесника и выдохнул:

— Исай Никандрович!..

Тот остановил мотоцикл и встревожился:

— Чего стряслось?

— Я... вас... обрадую!..

— Радуй,— разрешил Исай Никандрович.— А то я стареть стал и давно по-настоящему не радовался. Радуй, парень, радуй.

Алёша привёл лесника к старому дубу, разгрёб палые листья. Попадались одиночные жёлуди. А горки-то не было! Может, место не то? Может, они глубже лежат?

— Ты чего роешь-то? — спросил лесник.

— Жёлуди припасены были.

— Много?

— Побольше мешка будет.

— Правильно, больше,— вспомнил Исай Никандрович.— Много больше! Я вчера поехал в обход. И вижу: тут что-то спрятано! Участок мой. Всё я должен знать. Всё проверить. Проверил: жёлуди! Отборные. Я их нагрёб полную коляску. Отвёз в лесничество. Оприходовал. Благодарность получил... Это всё ты один собрал? Вот ты меня, старика, и обрадовал. Сказал: «Обрадую». И обрадовал. А сам-то чего не радуешься? Думаешь, я их своим свиньям скормил? Ничего подобного! Все до единого пойдут на посадку. Вырастет по Каме лес, и будет он тебя помнить. Я сейчас про твои жёлуди учительнице расскажу и ребятам.

— Да не надо бы меня славить, Исай Никандрович! — попросил Алёша.

— Не надо?

— Нет...

— Смотри, парень. Дитя не плачет — мать не разумеет... Мы с вами ещё не раз встретимся.

За руку Исай Никандрович попрощался с мальчуганом и уехал.

А на душе у Алёши было хорошо: лес-то вырастет!

Он пошёл на поляну и, не доходя до неё, остановился. Ребят на поляне не было. Голоса их ухали по дубраве. Светлана Николаевна засыпа́ла костёр землёй. А он всё дымился и дымился, живучий этот костёр, и, пока не погас окончательно, учительница хлопотала около него.

Она пошла между маленьких дубков, нагибалась, гладила их неприкасаемо и уходила на ребячьи голоса.

Пахло дубовой корой, так что вязало во рту, прошлогодними листьями и печёной картошкой...

ТРАКТОР

Ночью пал на землю тёплый, как мамино дыхание, туман и задержался в лесу. А после высыпал на деревья и травы зернью — росой.

Алёша проснулся оттого, что от росы в окошках стало светло, и сел на кровати.

— Куда ты? — окликнула его мать.— Куда, сынок?

— Я-то? — сонно спросил Алёша.— Я, может, никуда и не пойду. А пока думаю.

Он посидел на кровати, не открывая глаз, огляделся, взял столовый ножик и бутылку тёмного стекла — для самых маленьких грибов, что, по Алёшиному предположению, народились от такого тумана.

Алёша пошёл было в лес, да спросонок перепутал дверь со стеной и стукнулся о неё так, что проснулся окончательно.

— Куда ты? — забеспокоилась мать.— Дверь никак не найдёшь?

— Да найду я! — пообещал Алёша.— Грибов на грибовницу принесу.

— Можно и на две...

— А я на четыре принесу.

В лесу Алёша подумал: не много ли он наобещал — четыре грибовницы! Не поместятся они в одной бутылке. Да и нету их. Мокро кругом — ступить некуда. Будто дождик прошёл.

Алёша пробирался среди златокрылых папоротников и набрёл на старую — не прошлогоднюю ли? — борозду, оставленную плугом. Была она толсто выстлана хвоей. А в хвое, как ягоды, блестели грибы-маслята. Им от роду и дня ещё не было. Этой ночью народились и вот зарю встречают. Так-то всё у них, как у больших грибов: и шляпки, и ножки.

А запах — свежее не бывает!

Ел бы их без соли или с солью, да нельзя: надо дотерпеть до грибовницы.

Мальчуган вдохнул, а выдыхать не стал, задержал воздух в груди, не оттого, что забоялся вспугнуть маслят — не от этого.

А от радости. Нашёл, что искал!

Он шумно, с паром выдохнул и сказал:

— Ой, маслята мои. Маслятушки!

Ножиком Алёша под корешок срезáл грибы побольше горошины, проталкивал их в горлышко бутылки и тяжко и сладко, как от нелёгкой работы, вздыхал:

— Ой, маслята мои. Маслятушки!

Маслята выскальзывали из пальцев, оседали на них маслом и, пролезая в бутылку, поскрипывали.

— Ой, маслята мои. Маслятушки! О чём вы разговариваете-то? — сопел Алёша.— Чего это вы в борозде собрались?

Борозда привела Алёшу на поляну, где из травы на него смотрел трактор — фарой без стекла.

— А другая фара-то где? — оторопел Алёша.— Другой-то и нету. Отвинтили. Ладно, хоть эта есть.

Мальчуган обошёл машину. Трактор сверкал росою-зернью, словно был он одет в серебряную кольчугу.

А потом над поляной выкатилось тяжёлое солнце и, никого не спрашивая, высушило росу. Трактор стал красным. Даже не красным, а рыжим — ржавым насквозь, отработавшим своё существом.

И Алёше стало жалко его.

Он подошёл поближе и увидел, что трактор этот стоит здесь давным-давно, ушёл в землю, зарос розовым иван-чаем, крапивой и хмелем.

Из кабины вылетела птица, а за ней другая, третья, и иван-чай закачался.

— Есть там ещё кто? — крикнул Алёша, ответа не дождался и пробрался в кабину.

На полу её среди хвои, земли и листьев лежало гнездо, свитое из травинок, и над ним, как над костром, Алёша подержал ладони, тёмные от грибной слизи.

Сквозь хмель, что оплёл окна без стёкол, было видно небо и сосны.

Обеими руками Алёша взялся за железный рычаг трактора, зажмурился, изо всех сил потянул его на себя, и рычаг покачнулся.

Вот трактор взревёт, понатужится, выберется из земли и вперевалку, не стряхивая с себя цветы и травы, поплывёт по лесу.

А куда поплывёт-то?

Как куда? Куда его Алёша направит — в деревню. К школе. А то и к правлению колхоза.

Приведёт его Алёша к крыльцу и скажет председателю: «Вот, Игнат Игнатьевич, подарок от меня».

«А что это такое?»

«Вроде бы трактор...»

«Я тоже так думаю: трактор. Только он у тебя весь зарос цветами. Да и фара у него одна. Ты его из леса пригнал?»

«Из леса».

«Из леса. Трактор никудышный был. В металлолом только и годился. Починил ты его? Молодец, Алексей! С эдаких лет трактор отремонтировал. А мы его на днях собирались на завод — на переплавку — отправлять...»



Алёша вдохнул, снова задержал воздух в груди, с наслаждением выдохнул, выбрался из кабины — мотор чинить.

С чего начинать ремонт-то?

Цилиндры, жилы, провода обросли землёй. Мальчуган дотрагивался до них пальцами и вздыхал.

От его движений, шурша палыми листьями, пополз уж с золотой короной на голове. Алёша хотел было его догнать, чтобы получше рассмотреть корону, да разве ужа в траве догонишь?

— Да и не за ужами я сюда пришёл! — напомнил себе Алёша и ножиком соскрёб землю с толстой жилы мотора. На свет проглянула медь и заблестела.

— Не заржавела! — обрадовался мальчуган.— А с чего ей ржаветь-то? Медь никакая ржавчина не возьмёт. Жалко, что я не знаю, где у мотора сердце. А знал бы — наладил бы его. Оно бы застучало. Тук! Тук! Тук!

Поскучнел Алёша и пошёл домой.

Ночью, после ужина, после грибовницы ему снился трактор, такой, как на самом деле. Во сне с ним всё ладно получалось. Очистил Алёша мотор от земли, листьев и хвои, каждую жилочку протёр чисто-начисто, налил в бак горючего, вдохнул, задержал воздух в лёгких, выдохнул и взялся за рычаги. Трактор понатужился, понапружился, с треском, как нити по шву, обрывая корни и стебли, вырвался из земли и поехал в деревню.

Качается на нём розовый иван-чай, и кружатся над ним три птицы.

Стой!

Что такое?

Встал трактор: гусеница порвалась. Порвалась, слетела с катков, растянулась по лесу железной дорожкой.

Нет дальше ходу. Не пойдёт машина без гусеницы.

«Ай-яй-яй-яй-яй! — упрекнул себя Алёша.— Как же я гусеницу-то просмотрел? Не занялся ею? Не проверил?»

И во сне безутешно заплакал.

Он проснулся оттого, что мать дышала ему в затылок молочным дыханием и спрашивала:

— Ты чего, сынок? Никак, плачешь?

— Дак это я во сне,— оправдывался Алёша.— Не по-настоящему...

— Говорила я тебе: не наедайся на сон. Да вроде не наедались мы. Грибов-то ты принёс на маленькую грибовницу. Вон оно что! Не на том боку лежишь ты, сынок.

И легко, будто Алёше было года три, а не все полных десять лет, мать перевернула его на правый бок и накрыла одеялом.

Алёша пробормотал во сне:

— Сейчас я его починю...

Но чинить трактор не пришлось. Не приснился он Алёше. А снились ему маслята. Как коричневые ягоды, в борозде рассыпаны. Растут они, приподнимают опадь — листья и хвою, отчего по лесу стоит еле слышное шелестение.

ПАРУС

Алёша не хотел ехать в пионерский лагерь.

— Не посылайте меня,— просил он родителей.— Не поеду я.

— Почему? — спрашивали родители.— Почему всё-таки?

— Неохота.

— А почему неохота?

— Не поеду я!

— А туда ехать-то не надо,— говорила мать.— Пешком можно дойти: лагерь-то рядом — в Танаевском бору.

— Чего вы меня прогоняете? — спросил Алёша и задышал часто-часто.

— Да никто тебя не прогоняет. Никто! — Мать, как маленького, взяла его на руки и удивилась: — Тяжёлый какой!

Отец, где на автобусе, а где и пешком, проводил Алёшу

до самого лагеря — к дощатым домикам на поляне, где гудели ребячьи голоса.

— Дальше-то не провожай,— застеснялся Алёша и побежал по поляне, налитой, как чаша с краями, по вершины деревьев золотым воздухом.

В столовой мальчугану ударили в лицо горячие запахи. Место ему досталось рядом с Людмилой и Никитой. И не успел Алёша отдышаться, как ему принесли суп, и его Алёша съел немедленно и тарелку зачистил. А потом подали компот и котлету, от которой шёл пар. Тут бы с устатку съесть эту котлету безо всяких хитростей, да Людмила распорядилась:

— Веригин, ты вилку держи не в правой руке, а в левой.

— Так несподручно! — оправдывался Алёша.— Кабы я левша был. А я — правша... Научусь...

— Когда? — спрашивала Людмила.

— С годами,— шуткой отвечал Алёша и, не выдерживая строгого взгляда девочки, обещал: — Нынче научусь.

После обеда дети пошли купаться. Внизу, между соснами, от которых жарко пахло смолой, искрилась Кама. По тропинке, оскальзываясь на глянцевых сосновых корнях, дети спустились к реке.

— Купаться-то нельзя — рука не терпит,— пожаловался Никита.— До того холодная вода в Каме! Не верите — потрогайте воду. Перед этим холода были, и надо до-ооолго ждать, пока Кама нагреется...

— На лодочке бы прокатиться,— сказала Людмила.

— А вон она — лодочка-то! — обрадовался Никита и привёл друзей к лодке с мачтой и без вёсел. На дне её в дождевой воде плавал ковшик из берёсты.

Берестяным ковшиком дети по очереди вычерпывали воду, а она всё не кончалась, будто в днище бил родник.

Алёша нет-нет да и взглядывал на тот луговой берег. Там золотились пески. Выше краснела глина. А ещё выше зеленели тальники. Над ними, охваченные ветром, как огнём, белели серебристые ивы. Если попасть на ту сторону и пойти напрямик через луга — близко Большой бор и кордон, где отец с матерью.



— Всё! — объявил Никита и бросил ковшик на звонкое дно лодки.

Ковшик подпрыгнул.

А Никита выворотил из песка доску, ополоснул её в Каме и, улыбаясь всем широким, счастливейшим, распаренным лицом, показал доску девочке:

— Это — вместо весла! Люда, проходи на корму. Погоди, я лодку толкну...

От усилий Никиты, гремя железом, лодка сползла в Каму, дала течению увлечь себя и остановилась, вздрагивая на цепи, как большая сильная рыба на кукане. Она порывалась сплыть вниз по Каме-реке, но цепь, привязанная к колу, не пускала её и гремела.

Наверху протрубил горн — сперва хрипло, словно петух спросонок, а потом чисто и протяжно, и бор откликнулся эхом.

— Людям покататься не дают,— пожаловался Никита.— Полдничать зовут. Что мы — есть сюда приехали?

И первый полез в гору к лагерю.

После полдника дети отдыхали, играли в волейбол и в футбол, кто во что может... Ужинали...

Над поляной проступили звёзды.

Алёша пришёл к обрыву и увидел, как внизу качается чёрная лодка с мачтой. Через всю Каму от этой горы лиловая тень доставала до того берега, до лугов, повитых туманом, и там дрожал синий огонёк.

«Рыбаки костёр жгут,— подумал Алёша.— Не отец ли пришёл на рыбалку?»

И вздрогнул, оттого что Никита, подкравшись, стукнул его по спине и спросил в самое ухо:

— Не слыхал, как мы с Людой подошли? А мы шли — не таились.

— Он у нас задумчивый,— сказала про Алёшу Людмила.— Задумается и ничего не слышит.— И встрепенулась: — На том берегу — синий огонь!

— Почему-то синий,— зевая, подтвердил Никита.— Спать охота. А вам нет?

Ночью Алёша лежал под одеялом на твёрдых, словно засахаренных, накрахмаленных простынях и слышал, как на

соседней кровати по-взрослому храпит Никита. А над домиком по вершинам сосен катится ветер. У обрыва срывался с них, летел через всю Каму туда, где отец с матерью...

— Никита,— шёпотом попросил Алёша.— Не храпи...

Тот не проснулся, но ненадолго поутих. А потом захрапел громче прежнего.

И Алёша не заметил, когда уснул. Он проснулся от крика горластого петуха, не вдруг сообразил, что это горнист собирает лагерь на зарядку — на росяную поляну, и быстрее быстрого стал одеваться.

Ближе к вечеру мальчуган один спустился к Каме и сел в стороне от лодки, что колыхалась на цепи. По всей Каме закипали бурые волны с белыми гребнями, наливались чернотой, уходили к тому берегу и высоко выкатывались на золотые пески. И опять Алёшу нашли Людмила и Никита.

— Ты чего от нас прячешься? — весело спросила девочка.

— Я? — растерялся Алёша.— Да не прячусь я. Не думаю.

— Прячешься! Прячешься! — Никита похлопал Алёшу по плечу.— Только отвернёшься — нет тебя. Как это ты умеешь?

— Опять синий огонь, — Людмила показала рукой вдаль.— На том же месте. Что это? Никто не знает?

В лугах, в тумане, слабый, как свет в лесной избушке, светился огонёк, и сердце Алёши сжалось.

Никита сказал:

— Ветер от нас дует. А у нас лодка... Натянем на мачту простыню, не успеем оглянуться — будем на том берегу. И тогда узнаем, что это за огонь такой... Поедем сегодня ночью до подъёма?

И Никита победно посмотрел на Людмилу.

— Поедем! — ответила девочка.

— А как обратно по такой волне? — тихо спросил Алёша.— Да и простыню казённую жалко. Ругать будут...

— Испуга-ааался, — протянула Людмила. — Испугался! Я бы с тобой, Веригин, между прочим, не пошла в трудную экспедицию.

Алёша покраснел до ушей и молчал.

А Никита почесал в затылке и сказал восхищённо:

— Вот так Людмила Васильевна-ааа!

Обида толкнула Алёшу в грудь, и он жёстко спросил девочку:

— Ты — Васильевна, что ли?

— С утра была Васильевна...

— И с вечера — тоже Васильевна?

— И с вечера — Васильевна...

— Так вот, Васильевна, и ты, Никита... Как тебя по батюшке?

— Анатольевич...

— Так вот, Васильевна,и ты, Никита Анатольевич... Нынче, чуть рассветёт — до солнышка,— собираемся здесь у лодки. Вы ничего с собой не берите. Простыню я свою принесу. Одной простыни на парус хватит. Приедем, посмотрим, что это за синий огонь. К подъёму обернёмся — доской будем грести...

Алёшино сердце колотилось, и толчки его отдавались в голосе мальчугана. Дети слушали не то что внимательно — испуганно внимали они Алёше. А он, удивляясь сам себе, своей властной говорливости, рассказывал:

— ...В прежние времена там была церковь. Она в землю ушла. Отчего? Проезжал Ермак Тимофеевич на лодках с дружиной. И вёз драгоценности. И ничего-то он Каме не подарил. Не догадался. Золотого колечка не кинул в Каму. Кама всколыбалася. Земля затряслась. И церковь в землю ушла. У озера Сорокоумово. Место это затянуло травой. Бугор остался. Но есть дни, когда светится из-под бугра синий огонь. Вот только какие дни-то?.. А Кама потопила лодку с драгоценностями. Получила своё и утихла. А дружину и самого Ермака не тронула: «Поезжай дальше, Ермак Тимофеевич!»

Очень осторожно девочка похвалила:

— Красивый рассказ.

В эту ночь Алёша лежал одетый под одеялом на голом матраце. Простыня была заранее свёрнута свитком и спрятана под подушкой. Рядом храпел Никита. Когда туда-сюда заходили сквозняки и щели в домике стали различимы, Алёша кулаком ткнул Никиту под бок:

— Пора.

— А?! — рявкнул тот.

Обитатели домика зашевелились. Кто-то попросил:

— Выключите там приёмник... Пожалуйста...

Ребята дождались, когда домик затихнет, выскользнули на поляну и попали в плотный, дышать трудно, туман.

По тропинке, оббивая босые ноги о корни, дети долго спускались к Каме.

— Не проспали мы? — сопел Никита.— Проспали, да ещё как! Люда, поди, заждалась нас.

Почуяв беглецов, взахлёб лаяла собака.

— Откуда она взялась? — сопел Никита.— У нас в лагере ни одной собаки нет. Собираются завести, да никак не соберутся.

Лодку ребята нашли не сразу.

Туман у Камы был ещё гуще, чем в лесу, и только по бряканью цепи дети догадались, что лодка здесь.

— Вот она... лодочка-то! Прошли мы её... А она вот где, родимая! — У Никиты зуб на зуб не попадал от холода, и он, босой и грузный, пританцовывал на галечнике и тянул: — Вот она-ааа...

И встревожился Никита:

— Люды-то нет! Ждать будем или как?

Алёша пробрался в зыбкую мокрую лодку, вынул из-за пазухи тёплый, пахнущий крахмалом свиток, встряхнул его... Невесть откуда хлынувший ветер, которого, казалось, и в помине не могло быть при таком тумане, вырвал из рук Алёши свиток и, расправляя в полотнище, прилепил к мачте — к перекладине. И полотнище, помимо усилий мальчугана, само по себе, широко развернулось и забилось, загрохотало, заиграло белым нежнейшим светом, среди серого тумана распятое на крестовине мачты.

Оно с краями наполнилось тугим весёлым ветром!

Лодку развернуло и с силой повлекло на тот берег.

Но цепь, к которой она была привязана, натянулась во всю длину, и лодку отбросило к этому берегу. Алёша стукнулся о скамейку, упал, поднялся и сквозь боль крикнул:

— Никита-ааа... Цепь отвязыва-ааай... Це... ееепь... Ааа...

И голос его, несильный от природы, потонул в грохоте белого паруса.

Но другой голос, взрослый и заспанный, раздался из тумана и перекрыл все остальные звуки:





— Куда это вы, ребята?

Это спрашивал старший пионервожатый Виталий Латыпов. Большой, плечистый, в спортивном костюме и стёганке, он вытянул лодку с Алёшей далеко на берег, сдёрнул с перекладины простыню, проверил, цела ли она, не порвало ли её ветром, и, убедившись, что цела, сложил пакетом.

И спросил ребят:

— Кто из вас больше озяб?

Виталий снял с себя стёганку и накинул её на Никиту.

— Пошли досыпать, ребятки,— сказал вожатый.— До подъёма ещё часа четыре...

Пока поднимались по тропинке, по сосновым корням, он шёл позади ребят, чтобы они не потерялись, и говорил:

— Вас огонь, интересует на том берегу, я слышал...

— От кого? — удивился Никита.

— От Людмилы? — вырвалось у Алёши.

— Ребята, вы её сильно не осуждайте. Простите её! Она мне вчера вечером сказала: «Виталий Иванович! Веригин Алёша и Трапезников Никита собрались ехать на тот берег огонь посмотреть».— «Какой огонь?» — «Синий. У них простыня вместо паруса. Вон какой ветер! Утонут они. Я сама хотела с ними ехать, да боюсь. Отговорить их не сумею. Не послушают они меня, скажут: «Больше всех храбрилась и струсила!..» Отговорите вы их!» Вчера вечером я с вами поговорить не успел: вы спать легли. И я лёг. Сплю я чутко и слышу: поднялись ребятки. Дай, думаю, взгляну, куда это они? Как-никак я за вашу жизнь отвечаю...

Перед дверью домика Виталий Иванович отдал Алёше простыню, взял у Никиты стёганку, передёрнул плечами и сказал:

— А огонь на том берегу мы все вместе посмотрим. У меня к этой лодке и мотор есть, и вёсла. Вот только погода наладится, я вас свожу, когда захотите. Я так думаю: там буровики газ нашли, и он горит и день, и ночь.

— Газ жёлтым огнём горит,— напомнил Никита.— А это— синий огонь.

Виталий Иванович согласился:

— Правильно, синий...

Уснуть ребята не смогли. Никита ворочался с боку на бок и ворчал:

— Вот Людка, а? Вот героиня так героиня! «Я с тобой не пошла бы в трудную экспедицию!» Да таких путешественниц близко к экспедициям подпускать нельзя. «Вилку не в той руке держишь!» Да мы без неё всё это знаем. Только помалкиваем...

Под ворчанье Никиты Алёша лежал неподвижно, согревался и согревал собою простыню, пахнущую смолой, туманом и камским ветром. Ему хотелось тихонько, чтобы никто не услыхал, ни одна душа не узнала, зареветь. Отчего? Он и сам толком не мог объяснить. И всё же ему дремалось, и в дремоте под ворчанье Никиты наплывали воспоминания о доме, об отце, о матери.

И в этих воспоминаниях мать, как в яви, брала его на руки и уверяла:

«Да никто тебя не прогоняет. Никто! Большенький ты мой. Умница... Зёрнышко-ооо...»

СЕРДЦЕ

Учительница Светлана Николаевна повела третий класс в луга на экскурсию.

В дороге дети собирали и ели дикий лук — все, кроме Людмилы.

— Люда, ты чего не ешь? — спрашивал Никита.— Другие-то едят!

Громко, чтобы слышала Светлана Николаевна, девочка ответила:

— Не люблю, когда от людей луком пахнет!

От шагов и голосов из травы птицы выпархивали, и одна птица на взлёте запуталась в тонких стеблях, как в силке, забилась, заколотилась... Алёша кинулся освобождать плен-

ницу, но его опередил Никита, закрыл птицу ладонями, приоткрыл их и с торжеством понёс Светлане Николаевне.

— Я поймал! — сказал он и оглядел столпившихся ребят. В его ладонях сидела живая серая птица, и глаза её то блестели, то тускнели.

Никита улыбался всем своим тучным лицом и говорил:

— Воробей. Слышу, как у него сердце стучит: тук, тук, тук! Раз, два, три! Будет он у меня жить, и назову я его Сашкой...

Только он это сказал, как воробей выпорхнул из рук и улетел.

Никита собрался было зареветь, но раздумал, когда Светлана Николаевна сказала:

— Не мог ты, Никита, по счёту слышать, как у воробья сердце стучит.

— Это почему? — огорчился Никита.

— Потому что стучит оно у него очень быстро — восемьсот раз в минуту. Различить удары нельзя.

С некоторой тревогой в голосе Никита спросил:

— А моё сердце как стучит?

И взялся за грудь.

— Надо пульс проверить, — сказала Светлана Николаевна. — Жилку на запястье.

Людмила потрогала правую руку мальчугана и доложила учительнице:

— У Никиты никакого пульса нет.

— Людка, не ябедничай, — попросил Никита, и у него скривились губы от обиды.

Ребята тормошили Никиту, прикладывали ухо к его широкой спине и шумели:

— Нет у него пульса!

— Есть!

— Сердце бьётся. Бу! Бу! Бу!

— А пульса нет.

Светлана Николаевна улыбалась, а когда ребята поутихли, сказала:

— Если сердце бьётся, значит, пульс есть. Когда человек спокоен, оно делает от шестидесяти до восьмидесяти ударов в минуту...

— А я спокоен! — заявил Никита.

— Светлана Николаевна, он спокоен,— подтвердила Людмила.

Класс двинулся дальше по тропинке. Трава была ученикам по плечи, а то и выше. Алёша видел, как в травных верхушках перепархивает свет солнца, а само солнце поднимается и окунается в разнотравье, где застоялся жар.

Запыхавшись, прибежал Никита и на ладони протянул Светлане Николаевне лягушонка. Лягушонок сидел смирно и был прозрачный, словно выточенный из зелёного льда.

— Вот... Лягушонка Сашку поймал,— отдувался Никита.— А у него как сердце?..

— Сорок ударов в минуту,— ответила Светлана Николаевна.

А Алёша подумал: «Почему Никита всех Сашками зовёт — и воробья, и лягушонка? Ладно, после спрошу. Сейчас-то когда? Сейчас некогда. Сейчас ребята учительницу вопросами замучили. Как это она всё помнит?»

— Светлана Николаевна, как у слона сердце бьётся?

— Двадцать пять ударов в минуту.

— А у рака?

— Пятьдесят.

— У ежа?

— Триста. Ты чего ворчишь, Никита?

— А чего у всех по-разному, Светлана Николаевна? — недоумевал Никита.— Билось бы у всех по-людски. Одинаково.

— А зачем одинаково? — удивилась учительница.

— Чтобы...— начал Никита и задумался. В самом деле: зачем? — Чтобы...

— Что «чтобы»? — Глаза учительницы смеялись.

— Чтобы...

Никита стряхнул лягушонка в траву, стукнул ладонь о ладонь и решительно завершил:

— Чтобы много-то не запоминать, у кого сколько в минуту!

И потупился от дружного смеха ребят. А Светлана Николаевна серьёзно объяснила:

— У всех одинаково не получится. Все же разные! Слон

большой. У него и сердце большое, тяжёлое. Стучит оно медленно. А воробей маленький, и сердце у него маленькое. Живёт он короче и быстрее, чем человек. Вот и сердце у него торопится.

Трава расступилась, и открылся Исток — тихая протока, что вела из озера Брод в речку Тойму. Воды не было видно. Протока была закрыта листьями кувшинок, зелёными, плотными, без единой червоточины. На них золотыми светильниками теплились цветы.

— Что вы знаете о кувшинках, ребята? — спросила Светлана Николаевна, и класс заговорил быстрее быстрого:

— Они красивые!

— Они на воде растут!

— В них жуки ползают!

— Они жёлтые — кувшинки...

Алёша вспоминал, что у них на кордоне это растение зовут «бахто́вый корень» и, отливая медью, толстые корни его стелются по дну. Мать рассказывала, что в голодное время, когда Алёши на свете не было, эти корни извлекали на свет, сушили, перемалывали в муку, пекли лепёшки и спасались ими от недоедания, а то и от гибели. Нынче бахтовым корнем кормят лошадей с устатка, и они обретают силы. Алёше захотелось рассказать обо всём этом, и удобное время пришло рассказывать: класс выговорился и замолчал. Да застеснялся Алёша, прособирался говорить, и время ушло.

«Потом расскажу, в следующую экскурсию»,— наказал он сам себе и прислушался к голосу Светланы Николаевны.

— ...В старину кувшинку звали одолень-трава и считали волшебным цветком. Древние воины для победы над врагом брали в походы не только оружие, но и память о родине — одолень-траву. Прятали её у самого сердца. И говорили над ней такие слова:

«Еду я из поля в поле, в зелёные луга, в дольние места, по утренним и вечерним зорям; умываюсь медвяною росою, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь частыми звёздами. Еду я во чистое поле, а во чистом поле растёт одолень-трава. Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты гордея-ябедника. Одолень-трава! Одолей ты горы высокие, долы

низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные, пеньки и колоды... Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца во всём пути и во всей дороженьке».

Учительница передохнула и показала рукой на Исток:

— Красивые, старинные слова, как сами кувшинки.

— Светлана Николаевна,— сказала Людмила.— В прошлом году мы отдыхали в деревне. И я тоже умывалась медвяною росой.

А Никита спросил:

— Вы это, Светлана Николаевна, из головы выдумываете или наизусть помните?

Класс замер от такого вопроса. Учительница погладила Никиту по голове и сказала:

— Эх, Никита, Никита! Мне при всём желании таких слов из головы не выдумать — не поэт я, а учительница.

Никита подождал, не скажет ли Светлана Николаевна ещё чего-нибудь, помедлил, показал ей голенастого зелёного кузнечика, которого он держал за спинку двумя пальцами, и спросил:

— У него как сердце работает?

Светлана Николаевна ответила:

— Не знаю...

— Как? — изумилась Людмила.— Вы? Не знаете?

Ворохнулась рыба в воде под листьями кувшинок, и они закачались вместе с цветами-светильниками и только-только успокоились, как рыбина ворохнулась ещё и ещё.

— Щука,— сказала Светлана Николаевна.— Щука играет. Приду домой, посмотрю справочник и завтра вам расскажу про сердце кузнечика.

На обратном пути Никита вспотел, стал отставать. Алёша ушёл было вперёд вместе со всеми, но придержал шаг, дождался товарища.

— Никита,— спросил он не сразу.— Ты почему всех Сашками зовёшь?

— Не всех,— уточнил Никита.— Воробья да лягушонка. А кузнечика я Сашкой не называл: он не поймёт, наверное, кузнечик-то. Насекомое!

И вздохнул Никита.

— Нравится мне имя Саша,— признался он.— У меня бра-

та нет. Был бы брат — я бы его Сашей звал. И сестрёнки у меня нет. Была бы сестрёнка — я бы её тоже Сашей звал...

Алёша, у которого тоже не было ни братьев, ни сестёр, ничего на это не сказал.

Промолчал Алёша.

А спустя некоторое время поторопил Никиту:

— Чего мы отстаём-то? Чего мы, хуже других, что ли? Догоним ребят?

— Догоним, конечно...

И друзья побежали догонять класс. Впереди — лёгонький Алёша, за ним, отдуваясь, грузный Никита.

Теперь солнце не окуналось в травы, не плутало в стеблях, цветах и листьях, а стояло над лугами и раскалялось всё белее и жарче... А земля под ногами была упругая и сырая.

ОБИДЕЛСЯ

Земля зазеленела по берегам реки, и на эту пологую зелёную землю пришло половодье и затопило её.

Теперь травы зелено светились в воде, как водоросли, и сюда из глубины приходили кормиться рыбы.

Толкаясь длинным шестом, Алёша плыл на лодке. Кругом — одна громче другой! — кричали лягушки. Делали они это не просто так, лишь бы перекричать друг дружку. Каждая выводила свою песню и не забывала про песни соседок, и голоса складывались в весёлый лад:

«Зиму перезимовали! Вода потеплела! А поём-то мы как хорошо! Никому так не спеть. Если можете — попробуйте...»

— Попробуем, попробуем,— пообещал Алёша.

Лодка у него была старая, протекала, и от движений мальчугана вода в лодке вместе с деревянным ковшиком перекатывалась и грохотала. Обеими руками Алёша поймался за куст вербы, и верба задымилась золотым дымом пыльцы,

и легкий дым этот коснулся лица мальчика. Ковшиком Алёша взялся вычерпывать воду из лодки и недалеко от себя на чистоплеске увидел тёмное осклизлое бревно.

На дальнем конце бревна — хвост, точь-в-точь как у рыбы.

Алёша замер с ковшом воды в руках.

Бревно это или не бревно?

Позади, где хвост, узкое, а спереди широкое. Там, где самая ширина, в воде, как белые корешки, колеблются усы. А по бокам — плавники, прозрачные и ребристые.

Сом!

Живой? Едва ли.

Живой давным-давно испугался бы Алёшиной лодки. А этот — не пошевелится. Жалко сома, да что делать?

Ничего.

Алёша вычерпал всю воду из лодки, заскрёб дно досуха, зачистил, как тарелку ложкой, и обнаружил, что плавники у сома колышутся.

Живой! Живёхонек!

Чего он тогда не уплывает?

Тише тихого Алёша подплыл к сому, положил шест вдоль лодки, затяжно вздохнул, голой рукой дотронулся до спины сома, тотчас отдёрнул руку — рыбина не шелохнулась.

Может, сом ничего не видит, не чувствует? Глаза-то у него где?

Есть и глаза — недалеко от усов. Только больно маленькие, сонные. Не выспались глаза. Или переспали. Кто их знает?

А лоб у сома широкий. Видимо, о чём-то он думает. О чём?

Алёша свесил руку с борта лодки. До чего же тёплая вода в затоне, как парное молоко, если не теплее!..

Сом старый, видно, дедушка. Внучата у него есть. Правнучата. Всплыл на весеннюю завалинку и думает о жизни: холода пережил, буду жить дальше.

И совсем он не страшный, этот сом. Большой, добродушный, усатый.

Алёша погладил сома по спине, по голове, пощекотал за плавниками, как за ушами у коровушки почесал. Подумал, не подёргать ли за усы? Да побоялся: как бы тот не рассердился...

— Алексей!
Мальчуган вздрогнул от окрика.
Сюда на чёрной смолёной лодке плыл лесной объездчик Исай Никандрович Головин — приятель Алёшиного отца, большой любитель ухи. Алёша сразу понял, что этот сома не приласкает, и тихо спросил:
— Чего?..
Исай Никандрович подгрёб к сому с другого бока и спросил:
— Дохлый?
Врать Алёша не умел, а правду сказать не решился и промолчал.
Безо всякого уважения Исай Никандрович подёргал сома за плавник и заключил:
— Дохлый. Лёд нынче толстый был. Сом и задохнулся.
И спросил, закуривая:
— Чего ты тут делаешь?
Алёша открыл рот, чтобы рассказать, что плывёт он по делу на ту сторону залива — посмотреть на яблони. Яблони эти они с отцом сажали прошлой осенью... Но ничего этого Алёша сказать не успел. Исай Никандрович закусил папиросу жёлтыми зубами и шёпотом сообщил:
— Он — бес! — хвостом шевелит.
— Где?..
— А вон! Руль-то у него — будь здоров. Видишь или нет?
— Вижу...
— Жирный какой! Уха из него — одним наваром сыт будешь. А у меня, как на грех, с собой ни ружья, ни топора. У тебя нет?
— Откуда?.. — прошептал Алёша.
Ему было страсть как жалко сома. Человеческого языка он не понимает и, конечно же, в толк не возьмёт, что Исай Никандрович надумал с ним расправиться. Сому хорошо, оттого что солнышко, что люди кругом, дотрагиваются до него, гладят, о чём-то говорят и вроде бы зла ему не желают.
— Эх, была не была! — сказал Исай Никандрович, подвёл руку под сомовью шею, если можно назвать шеей то место, где усатая голова переходила в туловище, обхватил, как обнял, и мягко и сильно повлёк рыбину в лодку.



На удивление Алёши, сом пошёл легко, и лесному объездчику почти удалось перевалить его в лодку.

В последний момент сом открыл широкую, розовую, унизанную зубами пасть, и Алёше стало страшно. До чего же вместительна эта пасть — врагу не пожелаю побывать в ней! А до этого и пасти-то никакой не было. Пряталась она где-то под усами.

— Э!.. Ээ!.. Эээ!..— перепугался Исай Никандрович и выпустил сома. Тот окатил людей брызгами и погрузился в воду.

Но тут же всплыл и принялся задумчиво перебирать плавниками, словно между ним и человеком ничего такого не было.

— Бес, а? — помотал головой Исай Никандрович, стряхивая брызги.— Как он пасть разинул, так у меня руки отнялись. Считай, Алексей, что он мой был. Наполовину у меня в лодке. Тяжёлый, конечно. Однако не в том дело, что тяжёлый, а в том, что зубов много. Бес, а? Как ты думаешь, Алексей, дело это или нет?

А сом постоял на месте и вдруг развернулся в могучем плеске, так что лодки развело в разные стороны, и затонул.

Исай Никандрович подождал, не всплывёт ли сом, снял стёганку и, выжимая её, жаловался:

— Беда ведь, Алексей, а? Подождём, может, он опять покажется.

Алёша набрался храбрости и громко сказал:

— Не покажется он!

— Это почему же? — насторожился Исай Никандрович.— Должен.

— Обиделся он...

— «Обиделся»! — ворчал Исай Никандрович, натягивая стёганку.— Обидно ему. А мне — человеку — не обидно мокрому сидеть? Сому обидно, а мне не обидно. Да мне, может быть, в тысячу раз обиднее!

Дымились вербы. На мели плавилась некрупная рыба. Над водой затевался пар или туман. И согласно кричали лягушки:

«Зиму перезимовали! Вода потеплела! А поём-то мы как хорошо! Никому так не спеть. Если можете — попробуйте...»

ЯГНЁНОК

Ягнёнок был белый, как первый снег. Его купила мама на базаре. И на руках несла, и на верёвочке вела на кордон, где домовничал Алёша.

До кордона ягнёнок еле дошёл — устал и лёг на дворе на травку.

Алёша подошёл к ягнёнку, опустился перед ним на колени и удивился вслух:

— Какой ты маленький!

Рукой послушал сердце у ягнёнка, не расслышал и понял, почему: оно стучало очень часто, и стук его был сплошным, как гудочек.

— А шерсть какая мягкая! — сказал Алёша.

— Шёлк! — подтвердила мать.

И вместе с сыном она гладила ягнёнка по белой-белой, во влажных завитках, шерсти.

Алёша радовался:

— Хороший ягнёнок.

— Я его насилу до дома довела,— говорила мать.

— Упирался?

— Уморился.— И с улыбкой прибавила: — Я его и, как малого ребёнка, на руках несла. Земляков встретила. Они спрашивают: «Мальчик или девочка?» Я говорю: «Да нет, ягнёнка с базара несу». Одна старушка плохо видит и глуховатая. Она спрашивает: «Сам-то идти он не хочет?» — «Нет».— «Нынче,— говорит старушка,— дети избалованные пошли».

Ягнёнок полежал, встал на ноги, нетвёрдые, как стебельки, покачался на них и нацелился лбом на Алёшу.

— Чего это он? — насторожился мальчуган.

— Бодаться хочет.

— Да у него рогов-то нет! Не выросли они у него. Нечем ему бодаться.

Алёша потрогал голову ягнёнка. На ней под шерстью угадывались два мягких бугорка — начатки будущих рогов.

Ягнёнок замотал головой и ткнул Алёшу в бок, да так, будто приласкался.

— Мама,— сказал Алёша,— он не бодается, а играет!

Мальчуган встал на четвереньки и выставил голову навстречу ягнёнку: давай, мол, вместе играть-воевать.

«Давай!» — всем своим видом сказал ягнёнок и принялся наскакивать на лохматую Алёшину голову. Наскочет, отпрянет и задние ноги вскинет. Весело ему!

— Больно? — спрашивает мама.

— Не-ееет!

— Это ты нестриженый. Шапка волос на тебе. Вот и не больно. Стричься-то будешь?

— Буду, конечно.

— Когда?

Ягнёнок долго прыгал около Алёши, по-видимому принимая его за такого же, как он, ягнёнка. А потом досыта насосался тёплого молока из бутылки с соской, что принесла ему Алёшина мать, и уснул на дворе.

Мать на руках отнесла его в хлевушок, положила на сено, где он спал до утра, пока не взошло солнце.

Мать пошла по делам в деревню Поспелово, а Алёше наказала:

— Во дворе ягнёнка паси.

— Во дворе трава плохая...

— Во дворе тебя никто не тронет.

Алёша поиграл с ягнёнком во дворе, на истоптанной гусиной травке, а потом вывел его на поляну. Тут и трава выше и слаще, и ягоды попадаются, и дышать вольнее. Поляна просторная, вокруг корабельные сосны — высокие золотистые стволы и зелёные разговорчивые ветви.

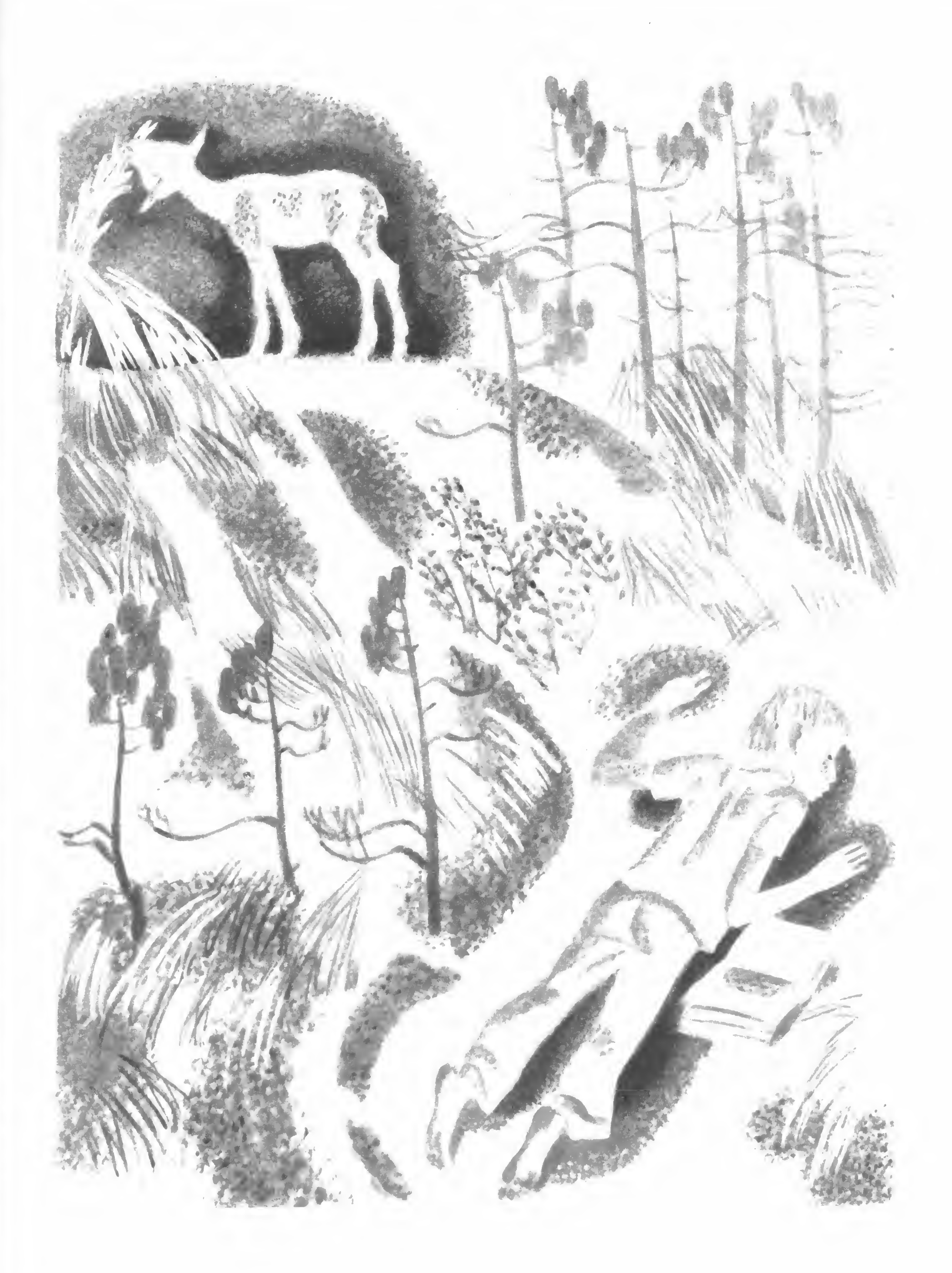
Хорошо здесь!

— Что, ягнёнок? — спросил Алёша.— Ягоды ты ешь или нет? Пробовал ты их или не пробовал?

Он набрал полную горсть неспелой земляники, красной с одного боку, белой с другого, и протянул подношение ягнёнку. Тот ягоды съел — прибрал все до одной, полизал Алёшину ладонь.

И опять принялся бодаться понарошку.

Алёше стало скучно.



Он сбегал на кордон за книгой, лёг спиной на траву, открыл книгу, но долго читать не смог — солнце помешало, било в лицо.

Алёша полежал с закрытыми глазами, вспомнил про ягнёнка, поднялся, огляделся и вскрикнул.

Большая серая собака, хвост поленом, зубами зацепила ягнёнка за ноги, перебросила через спину, как человек ношу, и понесла в лес.

В первый миг Алёше подумалось: не собака ли играет с ягнёнком? Но по хвосту поленом, по особой вкрадчивости движений мальчуган понял, что это не собака, а волк, которого он и прежде видел в лесу...

— Мама! — что было сил закричал Алёша.— Мама-ааа!

Размахивая книгой, отчего листы её бились и громко хлопали в руке как живые, Алёша бежал за волком и, всхлипывая, кричал:

— Мама! Мама-ааа!

Волк задел ягнёнком за сосну, выронил его, а сам скрылся в лесу.

Ягнёнок встал, отряхнулся и побежал к Алёше.

Подбежал, подумал, что делать, и мордочкой принялся тыкаться в Алёшины колени.

Пальцами Алёша перебрал его всего: голову, шею, тело, ноги. Нигде ни кровинки. Даже шерсть не вырвана. Как была белой, в ровных завитках, так и осталась.

— Ягнёнок,— говорил Алёша товарищу,— видно, ты волку на клыки не попал, вот и целый! Судьба твоя такая, ягнёнок...

Так Алёша разговаривал с ягнёнком, а корабельные сосны, что обступили поляну, молча слушали его.

А по небу плыли белые облака-барашки.

НЕСИЛЬНЫЙ РОДНИК

Родник вытекал из-под горы, был несильный, и если подставить ведро, надо до-ооолго ждать, пока оно наполнится.

Рядом текла большая река Кама, средняя река Иж, малая речка Ахтиялка и гремели родники сильные. Но вся деревня Ижовка ходила за водой к этому несильному роднику — вода в нём на особицу вкусная.

И я тоже только из этого родника брал воду.

Сегодня утром я шёл по воду. А впереди шли мальчик и девочка, оба высокого роста.

На плече мальчик нёс коромысло с пустыми вёдрами, а в руке длинные сухие стебли мальв с коробочками.

А девочка ничего не несла.

Они подходили к роднику. Он походил на избушку, что прижалась к подножию горы: вода вытекала из сруба, из-под тесовой двухскатной крыши по железной трубе.

Дети поздоровались со мной и стали ждать, когда ведро наполнится влагой. А она лилась еле-еле, и было похоже, что родник возьмёт и замолчит надолго, а то и навсегда.

— Еле-еле душа в теле,— сказала про родник девочка.— У нашей коровы молоко быстрее бежит.

— У вашей коровы? — не поверил мальчик.

С некоторым вызовом девочка ответила:

— У нашей. Именно.— И прибавила: — Не ждала бы я, если бы не гости. Больно они чай из этой воды любят. Говорят: «После неё ни один чай не в чай. Мы её в Москву повезём».

— Так и говорят? — изумился мальчик.— Прямо так и говорят: «Мы вашу воду в Москву повезём»?

Он смотрел на девочку со счастливым ожиданием ответа. А она молчала: как, мол, ты можешь сомневаться в правоте моих слов?

Мальчик осторожно сказал:

— Чайнее этой воды нет нигде...

— Может быть, в Индии? — спросила девочка.— Индий-

ский чай славится. Там и вода, наверное, хорошая есть для заварки.

Мальчик согласился:

— Возможно.

Посмотрел на меня и сказал застенчиво:

— У этого родника всегда очередь. В магазине такой очереди нет.

Долго ли, коротко ли, одно ведро наполнилось. Через край вода стекала в зелёную, будто всегда окроплённую росой, траву, терялась в зарослях осоки, череды и мокреца.

Мальчик подставил под родник второе ведро.

Я выбрал место посуше и опустился на траву. Недалеко от меня сели сперва девочка, а потом мальчик и, как ночью в тихий костёр, стали смотреть на воду, что падала в ведро.

Мальчик прочитал по памяти:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

— Чего-чего? — спросила девочка.

Мальчик покраснел до ушей и пробормотал:

— Стихи...

— И что?

— Ничего...

— Ты их уже читал.

— Хорошие они.

— Я разве спорю? Чего-нибудь поновее бы прочитал!

Мальчик встал, среди осоки, череды и мокреца воткнул во влажную землю сухие стебли мальв. Они торчали из травы, и было слышно, как под ветром в коробочках гремят семена.

— Опыт ставлю, — сказал мальчик. — Может, и приживутся.

— Ну да, — отозвалась девочка. — Жди.

Я спросил:

— А почему бы не подождать?

— Так они сухие! — улыбнулась девочка. — Валялись на дороге. Алёша их подобрал и посадил.

— Опыт ставлю! — улыбнулся мальчик.

— Был бы зелёный тальник — другое дело,— говорила девочка.— За год вымахал бы выше меня. Тут и зимой зелёная трава. Снег, а трава зеленеет, потому что вода не замерзает.

— Вода здесь нехолодная,— сказал я.— Зубы от неё не ломит.

— Это оттого, что день нынче холодный,— объяснила девочка.— В жару от неё зубы болят. Я как-то пила в жару и охрипла.

Мальчик напомнил:

— К вечеру горло прошло. Тебе тогда петь надо было. На вечере. Хорошо ты пела. Хлопали.

— Как ты всё помнишь? — покачала головой девочка.

— Вода в вашем роднике славится,— заметил я.

— Больно далеко-то не славится,— не согласилась девочка.— Не дальше нашей деревни.

— Я про неё в других деревнях слыхал,— вступился за воду мальчик, но девочка перебила его:

— Это по знакомству! Услышат про неё по знакомству в других деревнях и за ней приезжают. На машинах. На мотоциклах.

Помолчала и прибавила:

— Старушки пешком идут. С бутылочками. Некоторые думают, что они вино несут, а они вот эту воду...

Девочка надела дужки вёдер на коромысло. Мальчик подсел под него, разом выпрямился и не сплеснул ни капли из полных вёдер. Я спросил:

— Не тяжело?

— Чего тут тяжёлого-то? — ответила девочка.— Я сама эти вёдра ношу, и ничего.— И с гордостью в голосе сказала про спутника: — Он у нас самый сильный в классе.

Дети простились со мной.

Впереди шла девочка, а за ней мальчик. Он уносил на плечах, на коромысле тяжёлые вёдра, и в каждом круглилось, плавилось, играло солнышко.

Я подставил под родник своё ведро, и днище его запело, как весенний дождь.

Дети скрылись из глаз, и мало-помалу моё ведро наполнилось до краёв.

Прежде чем уходить, я огляделся. Родник — маленькая тесовая избушка — прижался к горе, сложенной из красного песчаника. На Красной горе без пастуха паслись белые козы — ходили по крутостям, по самому обрыву и щипали траву. Я подумал: «Не первый раз вижу, как козы бродят по обрывам. Почему они не боятся? Не помню случая, чтобы коза упала или ушиблась. Вот и малые козлята наверху. Видно, от рождения они умеют лазать по горам».

Красная гора с белыми козами была не простая, а как бы живая. Давным-давно, тысячу лет, а то и больше её овевал, гладил, точил ветер и по своему усмотрению многое сделал. В облике Красной горы, в её гранях и крутоярах просматривались лица людей-великанов, невиданные животные и растения, и я подумал: «Почему это у ветра так ладно получилось? Дует он и словно бы ни о чём не думает. А вот, пожалуйста, вырастают из горы великаны. У кого ветер научился художеству? Кто его учитель? И кто его ученики?»

Около родника в яркой траве торчали сухие стебли мальв, которые недавно посадил мальчик, и я пожалел, что они сухие.

Сейчас, когда я пишу этот рассказ, за окнами зима. Белые снега одели землю. Стебли мальв — в иглистом инее среди припорошённой снегом и всё-таки зелёной травы.

Слышно, как точится несильный родник, на слух всё собирается замолчать, замирает ненадолго и живёт и лето, и зиму. И в крепкие морозы сюда за водой приходят жители Ижовки и окрестных деревень.

И я с ними тоже.

КАМСКИЙ ОМУТ

Первый ключ, откуда берётся Кама, бьёт у села Кулига из колодца, вырытого под старой берёзой в логу среди сочной, до снега зелёной травы.

Первая речка, что впадает в Каму на изначальном пути её, имеет имя — Быструшка. Имя-то есть, а речка и не быстра вовсе и до того мала, что можно переступить её в рассеянии и не заметить. Да, от Быструшки ненамного стала сильнее Кама: точится в осоке слабая вода, вздрагивает. В жару ляжет на неё корова и запрёт воду: по эту сторону Кама есть, копится, а по ту — нет...

А где первый камский омут? Где то место, когда Кама раздаётся вширь и вглубь и в ней можно искупаться?

Мне сказали, что такой омут есть — километров двадцать ниже ключа под старой берёзой, если следовать всем изгибам и прихотям камского русла. Хотел я пройти по всем изгибам и прихотям до этого омута. Но не прошёл — лес не пустил. Как так?

Лес в верховьях Камы трудный. Деревья где от старости упали, где ветром уронены, а где бобрами подточены и повалены. Слышно, как под стволами пробирается маленькая ещё Кама, как кто-то шуршит в потёмках. И пахнет лес водой, грибами и древесным нестрашным тленом.

Конечно, при большом желании можно было попытаться пройти все двадцать километров по бурелому. Попытка — не пытка. Да жара стояла — трудно дышать, и не терпелось мне искупаться. А ближе, чем в первом камском омуте, мне сказали, искупаться негде.

Пошёл я к омуту в обход — километров восемь по просеке. Катятся зелёные волны по вершинам деревьев. Сколько времени они пробегут от одного края леса до другого и оборвутся у поля? Кто знает? Лес здесь протяжный, как жизнь...

Деревья расступились и у ног моих открыли овальную, провалом, поляну. В провале зелено светилась вода, и была она омутная, глубокая. А у изголовья поляны и у ухвостья её, скатываясь с обрывов, шумела вода. Это Кама впадала в свой первый омут и выпадала из него.

Я прилёг в тени старого шалаша, на полу которого росли высокие травы с цветами, остывал, слушал голос воды. И он мне нравился.

Когда-то здесь была водяная мельница: обрушенная плотина у изголовья поляны заросла иван-чаем, брёвна в воде зеленели, как прогонистые щуки. Муку нынче мелют не на

реках, а большей частью в городах, на механических мукомольнях.

«И всё равно,— думал я,— не надо было ломать эту мельницу. Омут был бы глубже. Рыба держалась бы в нём. А может, её и не ломали? Сама она состарилась без дела и оделась иван-чаем?.. Зачем ты сюда шёл? Купаться-то будешь или нет?»

Я разделся, прихлопнул на теле жгучего, как огонь, медного овода, кинул его в воду. Он не затонул, а поплыл было весь на виду вниз по течению, как около него разошёлся мощный всплеск, и овода не стало.

Я вздрогнул от всплеска, и мне стало жутковато.

«Голавль подобрал,— подумал я, успокаивая сам себя.— Рыба чистая и проворная. Только почему круг такой большой разошёлся? Русалка? Да ты что? Голавль!.. Или язь?»

Я набрал полные лёгкие воздуха и руками вперёд нырнул в омут. Меня опалило всего, как есть, сдавило рёбра, свело ноги, и, не понимая, в чём дело, в глубине я перепуганно открыл глаза. Я увидел буро-зелёную толщу и белый вздрагивающий одуванчик надо мной. Я ещё не осознал, откуда он взялся, этот белый шар, перевалился на бок и, загребая и толкаясь одними руками — ноги свело судорогой,— поплыл к одуванчику. Я выплывал к нему очень долго и слышал, как, содрогая всего меня, стучит сердце. Я успел удивиться, почему оно такое большое, стучит у меня всюду — в груди, в висках, в руках, как вынырнул на поверхность. И от белого одуванчика во все стороны разом полетели парашютики, и он мгновенно стал косматым холодным солнцем в просвете между деревьями.

Я ухватился руками за осклизлое зелёное бревно, оставленное от старой мельницы. Но руки соскользнули, и я опять с головой ушёл в ледяную воду. А потом, что было сил, рванулся влево, почувствовал пальцами галечное дно и выполз на берег.

Напротив меня по колено в траве стоял голый мальчик с белыми бровями и ресницами, в пилотке из газеты и безбоязненно разглядывал меня маленькими синими глазами. По всему было видно, что с тела его от солнца сошла не одна кожа, но теперешний загар на нём утвердился окончатель-

но и продержится вместе с царапинами до зимы, а то и дольше.

И через силу улыбаясь и кашляя от влаги, которая попала мне в лёгкие, я спросил:

— Сколько тебе лет?

Мальчик вынул палец изо рта и ответил шёпотом:

— Не знаю.

— Мама не говорила, сколько?

— Нет...

— Ты в садик ходишь?

— Не бывал.

— Бабушка с тобой возится?

— Она.

Он подумал и прибавил:

— Мы сено косим.

И рукой показал вверх по Каме. С наслаждением вслушиваясь в голос мальчика, я разговаривал с ним, одевался и согревался.

— Хорошее нынче сено? — спрашивал я.

— Не жалуемся.

— Ой, ты как толково ответил!

Он промолчал.

— Слушай-ка,— спросил я.— Это не тебе кричат: «Ау! Ау! Ау!» Да близко.

Мы оба прислушались.

— Мамка это кричит,— грустно рассудил мальчик.

Из леса выбежала молодая женщина, ладонью хлопнула моего собеседника по мягкому месту, заойкала:

— Ой-ёй-ёнюшки! Без спросу его на омут унесло! Спросился — тебя всё равно не пустила бы. Ой, господи, хорошо, что ты в омут-то не уркнул! Вода в нём на ключах, как зимой в проруби. Сразу — в ледышку. И дна в нём нет...

Тут женщина увидела меня, застеснялась и, заслонясь ладонью от солнца, поздоровалась:

— Ой, здравствуйте!

— Здравствуйте! Здравствуйте!

Волосы, брови и ресницы у неё были белыми от солнца, а глаза маленькие и синие, как у мальчика.

— Потеряла я его и вот — нашла! — радовалась женщи-

на.— Он у меня от земли не знатко, а бесстрашный — сладу нет. Отвернёшься — голышом убежит в лес и, как Тарзан, гукает: «У-уу-ууу!» Ни медведей, никого не боится.

— Вырастет — всё поймёт...

— А вы к нам приехали исток Камы посмотреть? — спросила женщина.— Рожденьем-то вы с Камы, наверное?

— С низовьев Камы...

— А сейчас где живёте?

— В Москве.

— У меня мама... бабушка его... просит: «Привезите мне из Москвы чёрный шерстяной платок!»

— С цветочками? — спросил мальчик.

— С цветами, конечно,— ответила мать и негрозно нахмурилась.— Заговорилась я с вами. Пойду — сенокос ждёт... Дождей пока не обещали.

Она взяла сына за руку, повела в лес. Мальчуган оборачивался, спотыкался и махал мне рукой.

А я махал ответно.

Лес скрыл мать и сына, и мне захотелось догнать их, чтобы узнать, как их зовут. Но я одумался, догонять не стал, а опустился на берег омута.

«У людей свои дела,— думал я.— У меня свои. Чего зря их беспокоить, имена выспрашивать?»

Я сидел на берегу, и по мне нет-нет да и пробегала дрожь — родниковая вода давала себя знать. Дрожь эта сменялась теплом, была уходящей, и я принимал её как радость.

Ниже омута Кама обегала островок из гальки и травы, уходила в глубину леса, манила белой берёзой в лесном проёме.

Вставать не хотелось.

Деревья стояли вокруг омута в испарениях трав, цветов и земли, в шуме воды. И шумела она весело и прощально.

Я приметил, как ястреб осторожно отделился от дерева и облетел омут. Крылья ястреба по краям были опушены солнцем, и много материнского было в движениях этой птицы. Вскоре появился второй ястреб, и теперь по закрайке леса они кружились вместе. Кто-то из них мать, а кто-то отец. Где-то у них гнездо.



Человек здесь бывает редко. Они увидели меня и беспокоятся, как бы я не причинил вреда их детям.

Я, быть может, посидел бы ещё у первого камского омута, но птицы не успокаивались. И я ушёл в село Кулигу, где остановился на ночлег — в избе недалеко от старой берёзы, под которой вырыт колодец с двухскатной крышей и деревянной утицей на коньке. А из колодца берётся первый камский ключ, великая, родная моя река Кама...

БЕСЕДА

Я родился в низовьях великой реки Камы и давно хотел побывать в верховьях, где она малым родником берётся из земли.

По железной дороге я утром приехал на станцию, от которой до этого родника сорок километров.

Было воскресенье. Автобусы и автомобили отдыхали. Где взять машину?

Подумал я, подумал и пошёл в милицию. Там работа очень ответственная, и машины всегда на ходу. А вдруг, на моё счастье, найдётся попутная машина? А не будет попутной — пойду пешком.

Дежурный милиционер козырнул мне, и тут же зазвонил телефон.

«Не стряслось ли чего?» — встревожился я.

— Стало быть, по угорам рыжики пошли? — кричал милиционер в трубку.— Не червивые? Ни одного червивого нет? Так не бывает...

Только он повесил трубку и ожидательно посмотрел на меня, как опять зазвонил телефон.

— Двойню родила? — кричал милиционер в трубку.— Так не бывает... Поздравляю. Ты ничего не перепутал, Евграф Христофорович? Мальчик и девочка? Золотые дети. Крёстным

отцом зовёшь? Приглашаешь? Ваша машина на ремонте? Ради такого случая свою пришлём!

Он повесил трубку, сказал мне:

— Сейчас.

И принялся набирать номер.

«Зачем мне людей отрывать от дела? — рассудил я про себя. — Дежурный отвечает за весь район. Транспорт ему нужен для срочной работы. А мне спешить некуда. За день не успею к роднику — дойду за два, за три».

И потихоньку вышел из милиции.

По пути попалась мне старуха с тяжёлой корзиной на сгибе руки. Содержимое корзины было неплотно прикрыто рябиновыми ветками с красными ягодами. И я углядел ярко-рыжие, веснушчатые, одна к одной, литые шляпки, поздоровался с грибницей и спросил:

— Рыжиков набрали?

Старуха, не останавливаясь, ответила:

— Разве это грибы? Сброд один...

— Как на подбор грибы! — вдогонку похвалил я. — Где набирали, если не секрет?

Не оглядываясь, старуха уходила от меня.

И я опять один пошёл по дороге среди лесов, холмов и опольев.

Люди мне больше не попадались, а на опушке леса, огороженной жердями, встретились лошади — мать и сын. Были они рыжие со светлыми гривами и хвостами и очень удивились, когда увидели меня.

Я подошёл к изгороди и спросил:

— Вы что — человека в глаза не видели?

Лошади слушали и, обдавая меня тёплым дыханием, тянулись к рукам, к лицу.

Я развязал рюкзак, достал буханку хлеба, разломил пополам, одну половину положил обратно, а от другой стал отламывать куски и с ладони кормить лошадей по старшинству: сперва — мать, а после — сына.

Они ели с достоинством, не торопились, не отталкивали друг друга и, прядая ушами, прислушивались к моему голосу:

— ...Иду вот с утра от станции Кез до села Кулига.

Исток Камы посмотреть. Исток Волги видел, а Камы — нет, хотя и родился на Каме. Хочу воды попить из начального камского ключа... Много ли отдыхал в дороге? Да так, не особенно. Ходить пешком я люблю...

Как они слушали!

Лошади даже есть старались помедленней, потише, чтобы не пропустить ни одного моего слова. Возможно, до конца они не понимали меня, но стосковались по человеческой речи и общий настрой признания-приязни, конечно же, улавливали.

Они разглядывали меня фиолетовыми глазами, и в глазах этих угадывалось спокойное желание продолжить беседу или, во всяком случае, не обязательно с угощением побыть подольше со мной.

— Что же,— сказал я,— поговорим. Беседуйте...

И не стал развязывать рюкзак, где лежала вторая полубуханка.

Они подождали, не скажу ли я ещё чего-нибудь. Лошадь потянулась к жеребёнку, ощекотала его лоб белыми струями пара из ноздрей.

И я это понял так:

«Это мой сынок. А у тебя есть дети?»

— Есть,— ответил я,— тоже сын...

Легонько лошадь положила голову на круп жеребёнка, и это я принял как вопрос:

«Большой или маленький?»

— Большой,— обрадовался я.— Из армии пришёл. Служил на горячей точке наводчиком-артиллеристом. Досталось ему. Зимой рыли окоп для орудия. Морозы жгли — ломы ломались. Железо крошилось...

Я долго рассказывал про сына:

— ...Большой! Выше меня ростом. А для меня он всё равно маленький.

Жеребёнок дотронулся до моей щеки мягкими губами:

«А мать у тебя есть?»

— Мать есть,— ответил я.— Старая она. Была учительницей. Двойки не любила ставить. «Я, говорит, подожду, когда ты выучишь и ответишь на четвёрку». А четвёрки и пятёрки ставить любила! Даже с плюсами. Четыре с плюсом.

Пять с плюсом. И я у неё учился в классе. Но это давно было. Сейчас она на пенсии...

Я надел рюкзак на спину и сказал:

— До свидания, игреневые! Может, ещё увидимся.

Лошади пошли вдоль изгороди провожать меня, но прошли они немного — изгородь не пустила — и остановились головами к дороге.

Я помахал им рукой и пошёл среди стерни, серой от дождей. В ней чернели, а то и по-июльски синели васильки.

От дороги я свернул на тропинку, и она привела меня в широкий, по-весеннему зелёный дол, где в ягодах росли черёмухи с могучими стволами и берёзки. Одна берёза была больше и много старше других — мать им или бабушка. Раскидистая, с плакучими ветвями, она вырастала из невысокого крутосклона и припадала к колодцу с двухскатной крышей. На коньке крыши сидела деревянная птица-широконоска — носом к Каме, что выбивалась из-под колодца. Да, под колодцем, под влажным срубом его, была проложена неширокая бетонная труба.

А из неё падала вода — Кама родилась!

Я умылся чисто-начисто, развязал рюкзак, достал хлеб, отведал воду из начального камского ключа, и она была чистая и вкусная. А после опустился на траву рядом с родником и, запивая водой, поужинал хлебом.

И усталость мою как рукой сняло!

Пока светло — самое время пойти бы в село Кулига и договориться о ночлеге.

Да уходить отсюда неохота..

В синие леса садилось солнце, дотрагивалось до лица моего и рук, и Кама, изгибаясь золотым стеблем, падала из трубы в траву, пробиралась к озеру, красному от заката. В озере на отражении солнца плавала дикая утка и резким кряканьем собирала утят. Утята разноголосицей отзывались на её зов и спешили со всех сторон к матери, оставляя на червонной воде белые бегучие дорожки.

И ладонью тихонько-тихонько я дотрагивался до золотого стебля воды, что падал в траву и точился в ней, созывал другие родники, с рождения набирался сил для долгого пути — в две с лишним тысячи километров.





— Не скажу, чтобы всю жизнь, а лет с семнадцати я шёл к тебе и не мог прийти по разным причинам,— говорил я начальной Каме и запоминал всё, что близко и далеко.— Вот и пришёл, Кама-Камушка... Вот и свиделись... Спасибо тебе, светлая...

ЧЕТА

Озерко лежало в лугах Прикамья недалеко от дороги и не имело имени. Кого бы я ни спрашивал, как оно называется, ответы были такие:

— Да никак!

— Нет у него имени.

— Озерком зовём.

— Или ямкой ещё.

— Ямка — это не имя,— говорил я.— Сколько их, ямок, в наших лугах.

— Не имя, конечно,— соглашались со мной земляки.— Что делать, раз другого не придумали. Да и не стоит оно настоящего имени. Мало больно да мелковато.

Дело было к осени. Траву в лугах скосили, а у озёр, где косилке не пройти, оставили осоку. И вокруг безымянного озерка зеленела осока, а над ней до морозов цвела лиловым цветом плакун-трава, или, как звала её бабушка Устинья, Богородицыны слёзы.

На моей памяти на озерке никто никогда не рыбачил, не закидывал в него удочку, не встречал зарю.

Да и была ли в нём рыба?

По осоке с кочки на кочку я подобрался к озерку и заглянул в него, как в лицо.

Было оно небольшое, в ожидании зимы прозрачное до блеска. Дно светлело, сложенное из супесей, и сперва я подумал, что всё озерко, как есть, в редких водорослях просматривается насквозь. Но в самой серёдке угадывалось



сгущение — глубина. Невесть какая, а всё-таки глубина, и я смотрел, не выплывет ли кто оттуда, пока не понял, что не туда я смотрю.

Это почему же не туда?

Я перевёл взгляд к берегу и под листьями кувшинок, выцветшими в предчувствии зимы, увидел две тени.

Две щуки.

Я не шевелился, чтобы не вспугнуть их.

Были они большие, тёмно-синие, даже дымчатые. И стояли голова к голове.

Рыбы меня не видели.

Вот они переместились. Одна стала ниже, другая выше и словно бы положила голову на голову соседки. Так делает в ночном жеребёнок, когда хочет приласкаться к матери. Но тут вряд ли были мать и сын. Тут, скорее, одногодки. В их облике было что-то стариковское. Выплыли они на завалинку захватить сентябрьского солнышка напоследок. А там как-нибудь, но только вместе, обязательно вместе, скоротать свою щучью судьбу...

Солнышко прогревало воду, и щуки подались к её поверхности. Греться так греться!

Я видел, как они вяло шевелят плавниками, не собираются нападать друг на друга, а дремлют. Теперь при свете солнышка они виделись мне не синими, а зелёными, словно бы замшелыми.

Щуки-старики. Скорее всего, старик и старуха.

Чета.

По озерку от дна застругами до кувшинок и камышей ходили золотые волны света, плясали на боках щук, и сколько я ни всматривался, никаких других обитателей в озерке не обнаружил.

Съели всех, наверное, эти самые щуки-старики и теперь соображают:

«Что же дальше-то будем есть, а?»

По дороге прошёл трактор с сеном. Щуки тут же затонули — ушли в глубину, и, не дождавшись, когда они всплывут, я пошёл домой.

Дома дни бегут быстро — дел много. И за делами я нет-нет да и вспоминал озерко при дороге.

«Как там щуки-то? Чем питаются? Или не до еды им теперь? То есть как это не до еды — живые они. Старые, да живые».

Выпал снег, осел на крышах, деревьях и травах — краткий снег, недолговечный.

По нему я пришёл в луга, и осока, схваченная морозом, хрустела под сапогами. Озерко словно обмелело, всё на виду, хоть бери его на руки и уноси из холода в тепло.

Не сразу я различил две тени. Они стояли у сморщенных кувшинок — так же голова к голове, чуть дальше одна от другой, чем в предыдущую встречу. Устали друг от друга, а расставаться навовсе неохота. Да и деваться-то некуда: озерко маленькое. Вот и приходится век коротать вместе, голова к голове.

Или они опасаться стали, как бы одна не схватила другую?

Да нет, не похоже. Стояли они сонно, но как только я приблизился к ним, чтобы разглядеть получше, щуки мгновенно опустились в глубину.

Грянули холода. Земля затвердела. Озёра замёрзли. По утрам снег красно горел на лугах.

Я взял пешню, пришёл на озерко, к обеду пробил в нём три проруби. Лёд был уже толстый. В каждую прорубь я поместил по зелёному снопу камыша, срезанного тут же. От старых людей я знал, что камыш — плохо ли, бедно ли — спасёт озерко от замора, и рыба в нём не задохнётся.

Зима была снежная, и до оттепелей на лыжах я несколько раз ездил обновлять проруби, ложился на лёд и смотрел в чистую, без запаха воду.

«Тут есть родники,— загадывал я.— Иначе вода не была бы такой. Она болотом пахла бы».

И пробовал её пить. На вкус она была не родниковая, а озёрная, отдавала землёй.

«Как там моя чета? — думал я.— Доживёт ли она до весны или нет?»

И спрашивал сам себя:

«Зачем я всё это делаю? Щук мне в свою веру не обратить. Не перевоспитать. Им на роду написано быть хищниками. И чего я тормошусь?»

Весна ударила дружная. Снега разом таяли, и по оврагам

денно и нощно пела вода. Половодье затопило луга и моё озерко тоже.

И я радовался:

«Дожили мои щуки до весны! А как же иначе? Вода в озерке стояла свежей всю зиму».

Облака наливались яблоневым цветом и отражались в половодье. В воде плавал пенный черёмуховый цвет, и соловьи щёлкали наперегонки по затопленным черёмушникам. Ночи стояли ясные, как белые северные ночи, от обилия света, воды и цветущих деревьев.

Когда половодье схлынуло, по вязкой земле я пробрался к своему озерку. Оно не было мутным и просматривалось всё, кроме глубины на серёдке. Я пробыл около него долго и всё высматривал, не покажется ли кто.

И после я приходил сюда.

Ни одной живой души в озерке не осталось.

Ушли ли щуки на прибылую воду, уснули ли зимой от замора, от которого, возможно, не спасли мои полыньи с камышом, или что-то ещё стряслось — не знаю. Скорее всего, ушли на большую воду. А там забыли своё сумеречное содружество — две синие тени, голова к голове...

А может, и не забыли.

Кто знает?

ЕЛЬ

Недалеко от избушки, где живёт лесник Иван Ильич Андреянов, среди деревьев обыкновенного роста росла великанская ель.

Была она старая, но не больная, и от комля и до вершины не было у неё изъяна. Правда, в старину с южной стороны неизвестный человек потрогал её топором — хотел вырубить дупло, улей для пчёл, но по какой-то причине оставил свою затею. Ранение было не смертельным. И в этом месте сгуст-

ками запеклась смола. Дерево, не дожидаясь посторонней помощи, само залечило рану.

Жила эта ель и при Иване Грозном, и при Степане Разине, и при Александре Сергеевиче Пушкине. Про них она не знала: не здесь, не в окраинном вятском лесу пролегала главная дорога русской истории. А вот про неё самоё как про редкое по красоте и возрасту дерево в Москве знали и помнили давно. И была она занесена в специальную охранную книгу.

Был у неё неохватный, до облаков, ствол, покрытый серо-серебряной чешуёй. И вся она, как огромная светлая рыба в зелёных плавниках ветвей, выплывала к небу.

За долгую жизнь свою она вырастила много детей — елей, ёлок, ёлочек, большинство из них пережила, но, возвышаясь над лесом, давала жизнь новым детям.

И люди шли к ней — грибники, ягодники, рыболовы — все, кто бывал в нашем лесном урочище.

Дивились люди:

— Неужели такие деревья бывают?

— Выходит, бывают.

— Человек рядом с ней тоненький, как спичка.

— Хоровод бы вокруг неё! А где столько людей взять?

— «В лесу родилась ёлочка...»

— Если мы все за руки возьмёмся, обхватим её или нет?

— Нет, не обхватим!

— Лесника надо звать, тогда обхватим.

Подходил лесник Иван Ильич Андреянов и загадывал путникам загадку:

— Весною наш лес заливает половодье. Бывало ли такое, чтобы эту ель по самую макушку заливала полая вода?

Такую загадку народ и слушать не хотел:

— Иван Ильич, ты посмешнее чего-нибудь загадай!

— Бывало: во всемирный потоп.

— Да не было всемирного потопа-то!

— То-то и оно, что не было.

— А если и был, то не такой.

— Не под силу ему эту ель затопить!

— Конечно, такой большой воды не было.

Иван Ильич пережидал шум и спрашивал:

— Сдаётесь?

— Сдаёмся,— отвечали путники.— Надо было с самого начала сдаваться. Чего мы зря время тратим?

Ладонью лесник показывал невысоко от земли и говорил отгадку:

— Когда ель была маленькой — вот эконькой! — её половодье заливало по самую макушку.

Ближе к зиме народу в лесу становилось мало, и, бывало, за обход лесник не встречал ни одного человека.

Иван Ильич шёл не по дороге — дорог в здешнем урочище почти нет, да и что увидишь, идучи по ним,— а по тропинке. Над головой треснула жёлтая искра.

«Никак, гром с молнией? — подумал лесник.— Поздновато... Однако в позапрошлом году в январе в оттепель настоящая гроза была. Правда говорят: всё в природе перемешалось...»

Он шёл, перелезая через поваленные деревья, от одного хорошего места к другому и радовался про себя.

Жизнь!

Дышит барсучий бугор, и зимой пар стоит над ним. Живы его обитатели. Плещутся дикие утки в протоке, что ведёт из озера Кривого в озеро Нургуш. Зимовать, видно, надумали, что ли? Пусть зимуют. Протока не замёрзнет, а мы их в обиду не дадим. А как наша ель поживает?

Каким бы кружным ни был обход, Иван Ильич напоследок шёл всегда проведать древнюю ель, и на душе у него становилось совсем хорошо:

— Голубушка!..

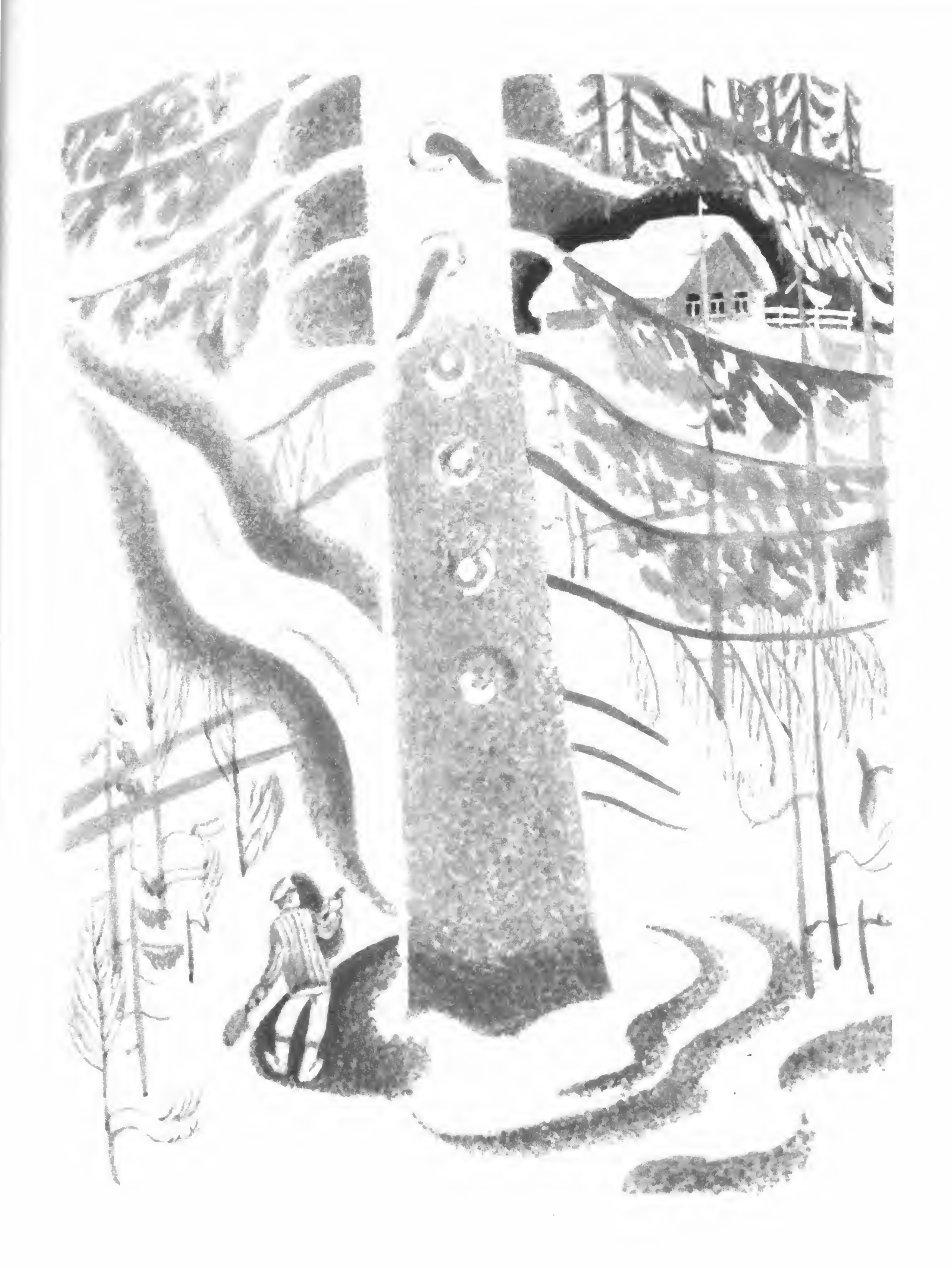
На этот раз лесник издалека услышал запах горелого торфа и смолы. Подумал:

«Не быть бы беде!»

Дымилась ель. Гарь тянулась из засмолка, где в старину неизвестный человек попытался топором вырубить дупло для пчёл.

— Кто же поджёг-то? Молния! Больше некому. По снегу видно — никто к ней не подходил. Да и у кого рука поднимется на такую красоту?

Снег вокруг комля таял. Огонь оранжевой бахромой



расходился от ели, шипел в снегу, потрескивал в опавшей хвое. Иван Ильич затоптал огонь сапогами, и тот утих.

Но красный жар разгорался в дупле, в засмолке, и Иван Ильич до поздней ночи, до седьмого пота набивал нутро старого дерева землёй и снегом.

И огонь затих, отступился от ели.

В темноте она стояла большая и задумчивая посреди выжженного круга на белом снегу и гореть не собиралась.

— Ну вот,— сказал Иван Ильич старой ели,— а ты плакала... Светает, никак? Светает. Спать буду — до ночи. А там и ночь прихвачу. За все недосыпы отосплюсь. Ты тут без меня огню волю не давай...

В полдень лесника разбудила жена:

— Вставай! Голубушка горит!

В дневных сумерках, как из печи, огонь вымахивал из могучего комля, и пахло смольём и торфом. В две лопаты жена и муж до ночи забрасывали жар сырой землёй. А на другой день огненный медведь, что ушёл в почву, налился силой, ворочался в дупле и в сухом торфяном подножье.

И не было силы сладить с подземным огнём. Как проникнуть в подземелье и остановить беду? Где взять в неприступном урочище такую пожарную машину? Да и нет такой машины-то. Звонил Иван Ильич в город, ему сказали: нет...

Лесник с женой окапывали поляну вокруг ели глубокой канавой, чтобы пожар не перекинулся на лес.

Ель тлела неделю.

Прогорело у неё нутро от корней и до ветвей. В середине ствола проглянул прожог. И пошла, загудела по лесу жаркая невесёлая тяга.

Ударили морозы, и, разбрасывая искры, в студёном лесу ровно гудела старая ель.

Рухнула она под вечер.

Она захрустела, подломилась и, взвыв, развернулась, ударилась оземь, так что снег осыпался со всего леса, а грохот пополам с эхом был слышен за многие километры — по ту сторону Вятки в селе Разбойный Бор. Житель этого села, в прошлом артиллерист, решил, что в лесу за Вяткой ухнула пушка тяжёлого калибра...

— Только откуда она там взялась — пушка-то? — недо-

умевал он.— Там и орудий никаких нет. Есть у Ивана Ильича ружьё. Дак он его никогда с собой не носит. Что же это было-то?

Оранжевая, раскалённая, подёрнутая разводьями пепла, ель лежала на поляне и была похожа на остывающий звездолёт, только что прилетевший на нашу Землю с иной планеты, где люди выше ростом,— до того она была большая.

Всего она тлела месяца полтора, а потом успокоилась, ссохлась, но не распалась, а чёрные ветви её, как антенны межпланетного корабля, слушали всё, что творится вокруг.

В прогоревшее нутро её можно было входить, не сгибаясь. Здесь от дождей прятались грибники, ягодники и рыболовы, и в древесном этом убежище пахло самоваром, смолой, погребом и грибами.

Со временем у неё стала проваливаться крыша, внутрь намело листвы и земляной крошки. И лазоревый, а то и красный, как кровь, иван-чай пророс по всей спине огромного ствола и затопил поляну, некогда выжженную дотла.

А по всему лесу зеленели дети, внуки, правнуки и праправнуки старой ели, переговаривались между собой и другими деревьями.

ИВОВЫЙ ОВРАГ

Помните картину Ивана Ивановича Шишкина «Рожь»? В поле россыпью растут сосны. Хлебам они не мешают, идут к вам, как люди, и ни одного колоска не затопчут.

Земляки говорили мне, что картину эту художник рисовал за городом Елабугой, за кладбищем, у излуки дороги. Когда поспевали хлеба, я бывал там, поднимался на пологую гору. Колосилась рожь, припадала к дороге, звала погладить ее...

А сосен не было!

Сосновые боры синели по окаёму. Но ни одна и малая сосенка не забежала в хлеба.

Старые люди вспоминали, что давным-давно сосны стояли в этом поле. А потом их не стало. То ли они состарились, не дали потомства, высохли на корню, и люди свели их на дрова. То ли их повалило ветром, то ли приключилось ещё что-нибудь. Кто знает?

Сосен не было.

А рожь и дорога остались. Я до устатка шёл по этой дороге и верил: если идти долго-долго, обязательно встретишь деревья художника с весёлой и лесной фамилией — Шишкин.

Как бы далеко я ни уходил, шишкинских сосен не было, а попадались овраги в поле — обрывистые, глубокие. Мне, равнинному жителю, с непривычки к высоте было боязно подходить к овражному обрыву.

Один овраг я любил из-за того, что в нём рос орешник и в иные годы давал много орехов. Начинался овраг неглубокой ложбинкой. Идёшь по ней, и мало-помалу слева и справа вырастают травянистые стены. И небо над тобой не круглится сводом — синей рекой течёт между крутых берегов.

А ты идёшь по дну этой реки и замечаешь, что небо становится ближе, синей и заманчивей.

Какие бы ветры ни шумели там наверху, здесь в овраге всегда найдёшь затишье — пригретый солнцем отрог, выступ или бугор, где тихо-тихо, где затаился орешник или ивняк или же стелется земляника, и ягоды у неё — красные с одного бока и не так красные или совсем белые с другого — словно озябли, потому что покрыты пупырышками, как гусиной кожей.

И где на солнышке обязательно греются жёлто-зелёные ящерицы.

Сначала я их боялся немного — не укусят ли? — а после полюбил. Хорошо мне было набрать горсть земляники, есть её по ягоде — сладкую, хмелящую, утоляющую жажду. И слушать, как вокруг в траве шуршат ящерицы. Они привыкли ко мне, и если я сидел неподвижно, самые смелые взбирались на мои ноги и грелись.

Я ложился и дремал, иные ящерицы подбирались к лицу, и я близко видел их таинственные, тёмные, глубинные глаза.

Там жила осторожность, приязнь ко мне и припоминание тех времён, когда и человека-то ещё не было на земле. Ящерицы, должно быть, разговаривали между собой, но их разговора я не слышал, и они мне представлялись не безгласными существами, а мудрыми молчунами, которые если и говорят, то негромко, редко и всегда в дело.

Так я любил сидеть на пригревке, на земляничном склоне оврага в окружении ящериц и слушать их вкрадчивые шорохи, похожие на шелестение листопада.

Тихо, тепло, хорошо.

И не одиноко.

От солнца, от полынных запахов, от вольного воздуха хмелела голова. И от земляники тоже. Старожилы говорили, что здешняя земляника на самом деле хмелит, и именно поэтому Красный бор, что выше по течению Камы, в старину звали Пьяным бором.

Если земляника не утоляла жажду, я вставал, и золотые ящерицы сыпались с меня и с потрескиванием разбегались в разные стороны, но недалеко.

Я старался не наступать на них и шёл к роднику в дальний конец оврага. Бывало, родник пересыхал совсем, и о нём долго не было ни слуху ни духу. Но случалось, и в сухое лето он по непонятным причинам бойко сочился из-под земли и не собирался иссякать. Вода в нём всегда пахла глиной — только что сложенной печкой пахла вода.

Когда проливались ливни, овраг преображался. По отрогам его кипела мутная вода, желтели и краснели водороины. А по самому дну, переворачивая листья и палочки, ревел поток. Да так ревел, будто теперь он будет всегда и обзаведётся не только течением, но и глубинами-омутами.

И рыбой!

Язями, голавлями, окунями.

Кем ещё?

Всё затихало, дымилось паром, обсыхало. Куда-то девались ящерицы. Запахи земляники и полыни пропадали. Пахло потревоженной землёй. Краснели и желтели водороины.

Я ходил по оврагу с охапкой ивовых прутьев, нарезанных тут же, и втыкал их в водороины. Я знал, что ивняк прижи-

вётся где угодно, была бы земля — и он её удержит и заслонит.

Овраг был мой, и мне полюбилось лечить его. Летом он одаривал меня земляникой, осенью орехами, в жару поил водой, как из глиняной посуды... И я отдаривался. Мое подарение — прутья ивняка с ходу принимались расти, словно только и ждали этого часа, когда я их посажу в развороченную ливнем землю. Она одевалась травой и не трогалась с места. И глуше гудели ливни по задернованным отрогам, и светло роптали стебли ивняка. На другой год их и узнать было нельзя — раздавались, росли, догоняли и перегоняли меня в росте. Теперь овраг был уже не ореховым, а ивовым. Ивняку понравилось здесь, и он рос там, где я его и сажать-то не думал — по всем отрогам и многим крутостям.

Давно это было.

Если мерять годами, то не в такой немыслимой дали это было, а всё-таки давно.

Недавно я побывал у ивового оврага и не узнал его. Крутых склонов и в помине не было, а был пологий лог в ивах, орешинах, землянике и прочном травяном покрытии.

Родника и ящериц не слыхать, не видать.

Куда они подевались?

Я подумал:

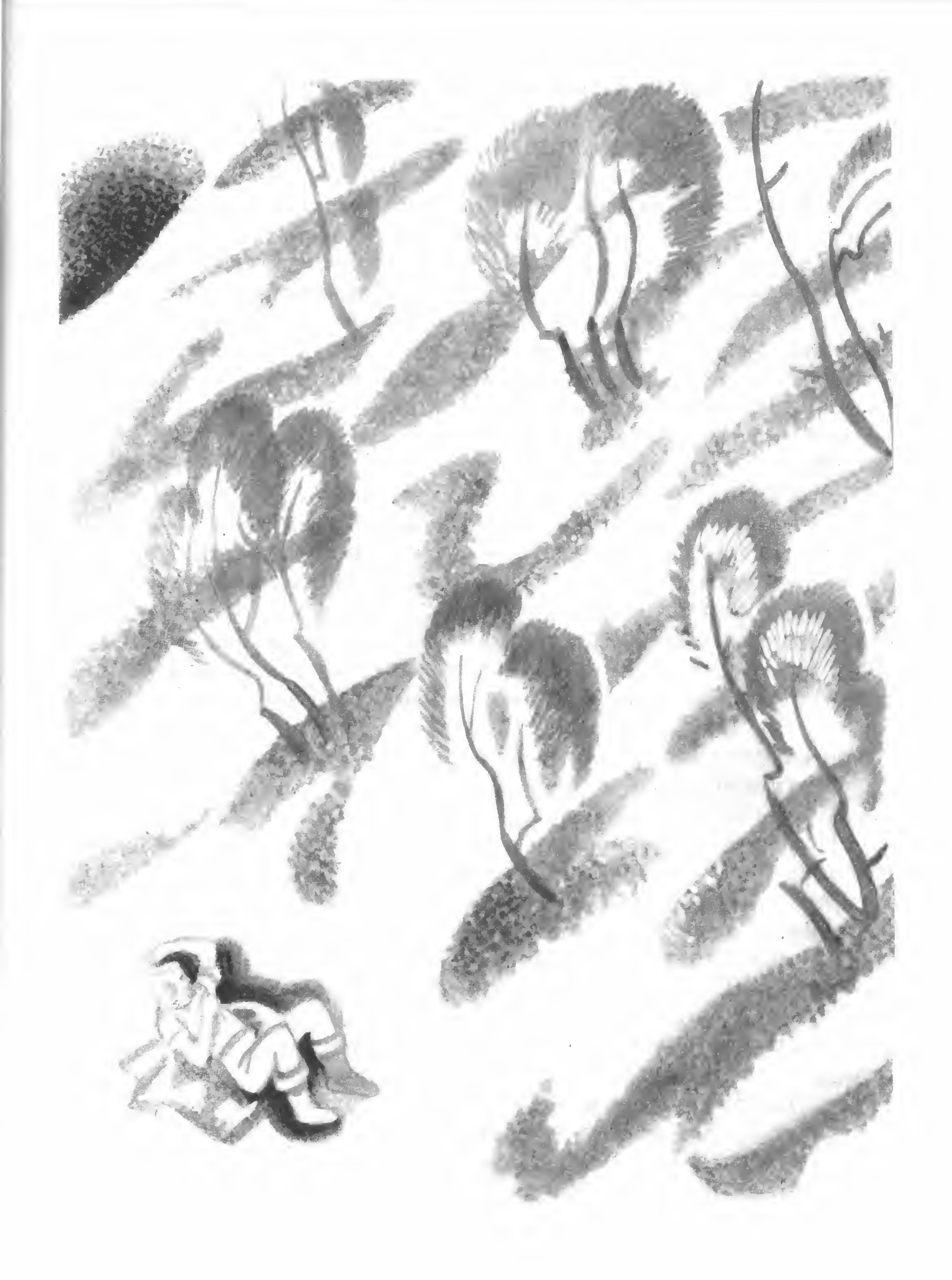
«Тот ли овраг-то?»

Знакомый агроном сказал мне, что лог этот распашут, засеют рожью и пшеницей. И он будет приносить прямую пользу. А деревья не тронут. От них тоже прямая польза. Будут они стоять во ржи, как сосны Шишкина, грудно и россыпью идти к человеку.

И он к ним.

Я обошёл обмелевший овраг, узнавал и не узнавал его отроги и ложе и попрощался с ним.

...Всю землю с одинаковой силой любить нельзя — не получится, не запомнить её всю. Но милые моему сердцу поля, леса, луга, реки, родники и овраги и малые впадинки люблю я со жгучей силой и нежностью. Даже если знаю, что оврага или впадинки не будет — их распашут под хлеба — и что здесь было, люди забудут и не вспомнят.



РЕЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Речка Тойма течёт по полям и лугам в сопровождении озёр-стариц и впадает в Каму.

На левом берегу Тоймы горькой полынью порос Ананьинский могильник. Плита из него с изображением воина, и оружие, и украшения хранятся в Историческом музее, что на Красной площади в Москве.

А на правом берегу Тоймы — мой город Елабуга, родина художника Ивана Ивановича Шишкина, в церквях, особняках и тополях.

Это — старинная Елабуга.

А новостройки её — на горе, далековато от Тоймы.

Весной, как и всякая река, Тойма выходит из берегов, и белые вербы, затопленные по самые цветы, клонятся, оттого что ярится вода. А летом и осенью Тойма мелеет и, бывает, еле-еле добирается до Камы.

Где течёт, где стоит, а где клубится песком-родником бурая, коричневая или красноватая вода. Спросите моих земляков, есть в ней рыба или нет, и вы услышите:

— Да какая в Тойме рыба!

— Была, да сплыла.

— Нынче рыбы совсем не стало.

Но рыба в Тойме есть, и надо уметь взять её.

Повыше Елабуги знал я подводный порожек. По моему расчёту под ним должна держаться рыба и подбирать пищу, что течение смывает с гребня. А если рыбу прикормить, её соберётся много и она осмелеет?..

Стал я бывать здесь каждый вечер и на порожек бросать прикорм. Шесть зорь приходил я с прикормом, а на седьмую нагрянул с удочкой и дотемна поймал садок язей.

Прохожие поочерёдно останавливали меня — в небольшом городе все друг друга знают — и спрашивали:

— Ничего не поймал?

Да ещё прибавляли пословицу:

— Кто стреляет да удит, у того ничего не будет.

— Показал бы рыбку-то, Тимофеич.

Без видимого напряжения я протягивал садок, словно он был пустым. Прохожий брался за него одной рукой, еле успевал удержать тяжесть двумя руками и говорил:

— Кирпичей ты туда наложил, что ли?

Люди разглядывали рыбу, переложенную крапивой, вдыхали рыбный запах и говорили:

— Мы уж и забыли, как рыбой-то пахнет.

— На Каме поймал?

— Камская рыба — сразу видать.

Ближе к осени пошёл я на рыбалку и издалека увидел, что место моё занято. Мужчина с коротким удилищем топтался против моего порожка.

Как он углядел его — порожек-то с берега незаметен!..

Дела у рыболова спорились.

А у меня?

У меня рыбалка нынче не получится: рыба в Тойме с высшим образованием, просто так она клевать не будет, и её надо заранее улестить.

Прежде чем уходить домой, я огляделся. Берег был ископычен коровами и лошадьми — сюда гоняют скотину на водопой.

Далеко вдавалась в Тойму серо-голубая, илистая коса. По ней бродила чета ворон и расклёвывала ракушки.

Ко мне подошёл тот самый мужчина с коротким удилищем, поздоровался и сказал:

— На уху приглашаю.

И похвалил моё удилище:

— Пластиковое! Складное!

— Да что толку? — махнул я рукой. — А у вас — ореховое?

— Рябиновое.

Он привёл меня в зелёную низинку, где девочка лет десяти, отворачиваясь от дыма, деревянной ложкой выкладывала из котелка на холстину разваренных язей. На шее девочки висели бусы из ягод рябины. Ягоды, нанизанные на суровую нитку, были крупные, окатные, алые. И среди них висел серый, в углышках, камушек.

Хозяин круто посолил язей и сказал:

— Ложек у нас две. Одна — вам. Другая нам.

— Может, сперва вы с дочерью похлебаете? — предложил я.

— Уха простынет,— ответил хозяин.— Да и по разным углам есть негоже.

Одну ложку он подал мне. Другую почерпнул с верхом и поднёс дочери. Она приняла её обеими руками, подула на горячее, зажмурилась, отхлебнула малый глоток, зажмурилась ещё отчаянней, осушила всю ложку и передала отцу.

Ветер свистел над нами, и когда дым костра поднимался над низинкой, ветер пригибал его. А здесь было жарко от наперченной ухи.

Девочка сказала отцу:

— Я больше не хочу.

— Почему?

— Язык сожгла.

Она взяла язя с холстины и принялась обирать его с костей одними губами.

В свой черёд вместе с хозяином я тоже принялся за рыбу.

— Костисто? — поинтересовался хозяин.

— Как? — переспросил я.

— Я спрашиваю: угощение-то — костисто?

— Костисто-то костисто, да разваристо и душисто! — в рифму ответил я.— Не мы, а природа язя костистым сделала.

— С голодку да с холодку не такое диво съешь,— говорил хозяин.— Раньше писали: «Язь — рыба не ушистая, и вкуса в ней нет». Я думаю, это с жиру писали.

— Пойду для чая воды принесу,— сказала девочка.— Ой, вставать-то как неохота!

Она взяла котелок и ушла.

— Работящая у вас дочка,— похвалил я.

— Вся в мать. Сказал бы: «В отца!» Да не скажу. Она проворней меня. Поворотливей. А выдумщица! Видели у неё бусы-то из ягод? Это она сама придумала. После неё все подруги в классе носят рябиновые бусы. Краснó в классе!

— И один серый камушек повесила,— вспомнил я.

— А это не камушек, это речная жемчужина,— обгладывая рыбий костяк, объяснял хозяин.— У моей бабушки-покойницы было ожерельице, всё, как есть, из таких жемчужин.

Потом его моя мать носила. Жена надевала. Не хранили, не берегли, где потеряли, а где ребятишки порастаскали. Вот и осталась одна жемчужина. Последняя...

Пришла девочка, принесла котелок с водой, повесила над огнём на перекладине между двух сошек.

— ...Жемчуг раньше в Тойме брали,— рассказал хозяин.— Мужики собирали ракушки. Знали, где. Знали, когда. Знали, какие! Открывали ракушку кочедыгом... Да вы в таких годах, что видели его... Железным крюком на деревяшке, которым лапти плели. Находили в ракушке ядрышко, брали его в губы, держали там, чтобы оно... чтобы оно... после Тоймы отогрелося...

Лицо хозяина сделалось напуганным, и испуг не сходил с него.

— Постучать? — спросила девочка.

Глазами отец дал понять: постучи, мол, пожалуйста. А сам не ворохнулся.

Девочка сложила кулачки вместе, постучала ими в гулкую спину отца. Тот, не разжимая губ, не вдруг отозвался:

— Хорош!

Выловил у себя изо рта белую, как волосок, косточку, показал мне и пожаловался:

— Чуть было эту кость не проглотил! Рыбу люблю, а есть до сих пор не научился.

— А ты больше разговаривай, когда ешь! — укорила девочка.

Она была вся освещена солнышком, что сидело на краю низинки. Лицо и руки у неё были розовыми. А бусы — тёмно-красными, кроме камушка.

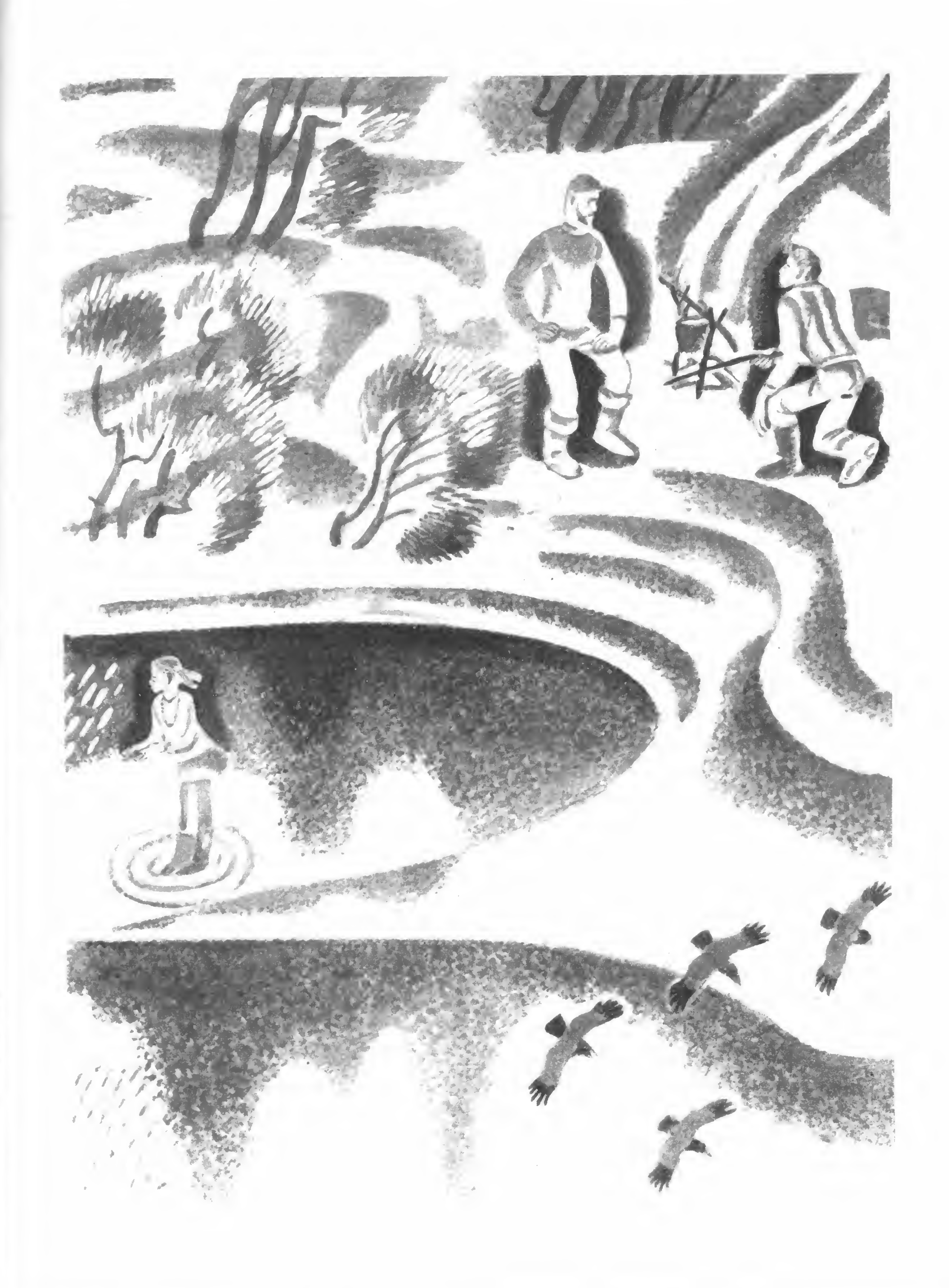
Мы пили чай, который отдавал рыбой. И всё равно это был чай — наслаждение после солёной ухи.

— Около живого человека жемчужина дольше живёт! — говорил хозяин.— Дольше держится около тела. А так — и звёзды стареют...

Кружкой он показал на небо, где ещё не было ни единой звезды. Солнышко ушло из низинки, и потаённый, матовый, гаснущий свет, быть может, только под впечатлением рассказа хозяина жил в камушке посреди ягод.

— Спасибо за угощение,— сказал я.





— Это вам спасибо,— улыбнулся хозяин.— Язи-то ваши.

— Не понял,— сказал я.

— А чего тут понимать? Я луга охраняю. И давно я заметил, что вы это место прикармливаете и без рыбы отсюда не уходите. Я подумал: «Тойма-то не купленная. Не его она, а всех...» И нынче мне страсть как ухи захотелось! И на вашем, на прикормленном месте поймал я полный садок язей. Не обидно вам?

— Да какая обида! — рассмеялся я.— Напоили-накормили...

— Ой, как вставать-то мне неохота! — сказала девочка, когда подошло время идти домой.

Мы вышли из низинки, и ветер, холодный с непривычки, объял нас с головы до ног. Он поднимал перья на воронах, что бродили по отмели и, громко переговариваясь, расклёвывали ракушки.

Я пошёл по этой отмели, и сапоги неглубоко вязли в серо-голубом иле. Он весь был в птичьих следах и ракушках. Ветер заламывал крылья воронам, и они не улетали, а пешком уходили от меня. Я поднял раскрытую раковину, посмотрел на свет нежно-зелёную, легчайшую выпуклость в плавных годовых кольцах, словно срез дерева. Внутри раковина сверкала перламутром, и тропическая яркость его на ощупь была ледяной. Я приложил раковину к уху и услыхал гул океана.

— Нашёл? — крикнул мне охранник лугов.

— Чего?

— Жемчужину.

— Не-ееет!

— И не найдё-ооошь! Вода давно в Тойме не та.

По отмели я вернулся на твёрдый берег к моим спутникам. И обнаружил у себя в садке свежих язей. Они были переложены крапивой, словно я сам их только что поймал и собрал в дорогу.

— Мы с дочкой обидимся, если ты откажешься,— предупредил охранник.— Ты нашёл место, прикормил его. А мы на готовое пришли. В другой раз я тебя поведу на свои места. И не откажусь, если ты меня рыбой выручишь.

— И много у тебя на Тойме таких мест? — спросил я.

— Много, не много, а есть. Я тебя повыше к голавлям свожу. К каким голавлям! Против них эти язята — мелочь...

— Почему мелочь? — заступился я за улов.— Не язята, а язи!

Охранник согласился:

— Ровные язи.

— А себе-то вы оставили? — спросил я.

— Какой ты беспокойный! — весело упрекнул охранник.— Мы себя не обидели.

Мы шли втроём по зелёному берегу, и я лишний раз убеждался, как красива моя Тойма. Река плавно изгибалась, и вода в ней, что бывает редко, синела озёрной синевой. А по берегу рос тальник в лимонно-жёлтых и красных листьях и золотились стога. Белые церкви отражались в Тойме, и их отражения тихо струились и дрожали.

«Цвета-то какие нынче! — радовался я.— Как у великого художника Андрея Рублёва. Лазоревые. Золотые. Красные. Зелёные. Чистые цвета и кроткие. Дружат между собой и переливаются один в другой, как река в реку...»

Мы шли на солнце, что садилось за гору, где белела старинная, много старше Москвы, башня Чёртово городище, сложенная из дикого камня. Но мы не к ней шли, а домой, в Елабугу, вдоль речки Тоймы. И тальник неширокой золотой полосой сопровождал её по всем изгибам, по всему её недолгому пути — от верховий и до низовий, до впадения в могучую реку Каму.

ТРЕТИЙ СНЕГ

Деревня Царегородцево — семь изб — стояла на некрутом косогоре, и у его подножия протекала речка.

В этой деревне глубокой осенью я гостил у приятеля Алексея Царегородцева по причине операции аппендицита. Будучи студентом, я должен был ехать «на картошку» — месяц

работать на колхозном поле. Но после операции врачи не отпустили меня на работу, и по приглашению моего приятеля я приехал к нему в деревню — отдохнуть.

Мы жили в просторной темноватой избе со скамьями по стенам, с белой русской печью, с обилием старинных предметов, необходимых в хозяйстве.

И всем хозяйством управляла мать Алексея — женщина добрая, немногословная, в платке, повязанном по брови.

Утром, в потёмках, мы завтракали, ели картошку с солёными грибами или пили молоко с толстыми ломтями хлеба. Потом Алексей садился за чистый скоблёный стол — писать. Писал он серьёзно, поджав губы, статьи и очерки, и разговаривать с ним в это время было нельзя. Мать его хлопотала по хозяйству. А я, чтобы не быть лишним в доме, брал удилище и уходил на речку.

Речка была по щиколотку. Омутов в ней я не помню. Открытая всем ветрам речка-степнячка! Рыбы в ней вроде бы не должно быть — негде спрятаться рыбе-то.

Но рыба была: пескари.

Клевали они хорошо — перламутровые, гранёные рыбки, и мне было неловко приносить их хозяйке — до того они были маленькие.

А хозяйка не отвергала мои уловы. Она чистила каждого пескаря, потрошила, укладывала на раскатанный лист ржаного теста, тестом же закрывала сверху, загибала по краям, отправляла на противне в печь.

Получался румяный пирог-рыбник, и был он вкуснее вкусного.

Иногда в моём улове встречались окуни, и хозяйка наказывала:

— Ты их почаще приноси.

— Окуней?..

— Вот-вот, окуней. Пескари вкусны. А окуни и вкусны, и крупны.

Говорила она это мягко, с улыбкой и уходила хлопотать по хозяйству. А Алексей не отрывался от бумаги, засевал её ровными строчками и просил:

— Ты бы писал, Станислав. Время-то у нас какое!

Иногда к нам на огонёк приходил Робинзон — старик в

высокой, как у Робинзона, столбом, шапке и подсказывал мне:

— Окуней на озере ищи, парень. Речка в него впадает, и нету её.

И вздыхал Робинзон:

— К озеру подступа нет. Берега у него зыблются. Плавают. Сплавины, а не берега. Озеро кипит от окуней. Прямо кипмя кипит!

— Лодки на озере нет? — спрашивал я.

— Лодки, парень, нету. Да и не было её у нас никогда. Не держим.

Я побывал у этого озера.

Пошёл по течению речки, и она привела меня к лесу, что полумесяцем облёг озеро. Вода блестела посреди зелёной бархатной оправы из сплавин. С виду они были крепкими и звали пройтись по ним. Я попробовал ступить на зелень — нога ушла в трясину, и я еле успел выскочить на берег. Там я вылил из сапога воду, обулся и потоптался около озера.

На обочине леса я набрал полный, с верхом, рыбацкий садок рыжиков. Были они тугие, истекали золотым молоком, а на шляпках краснели кольца — одно больше другого. Пожалуй, никогда — ни до, ни после — я не приносил столько рыжиков, сколько принёс их из этого хвойного леса, что полумесяцем обнял озеро.

Мать Алексея похвалила рыжики:

— Ядрёные. У нас все такие.

А Робинзон спросил:

— Окуни не брали?

— Не подступиться к озеру...

— Знаю,— согласился Робинзон.— Местность у нас такая.

— Красивая у вас местность,— сказал я.

— Сейчас ещё не так,— отозвалась хозяйка.— Грязи много. Глины. Летом у нас красиво. Цветов много.

— Ты бы писал, Станислав,— говорил Алексей. И смотрел в окно.

— Небо нынче низкое,— жаловался Робинзон.— Как вы приехали, тучи пошли. До этого небо было синее.

Теперь я каждый день ходил в лес, приносил в садке рыжиков, собирал морошку. С ней я здесь и познакомился.

Была она жёлтая или красная, походила на росу или на малину. Вкус у неё был нежнее, чем у малины, и я морошке кланялся: росла она в сырых местах и стелилась по земле.

— Даром! Даром! — просила хозяйка.— Не носи больше ни грибов, ни ягод. У меня вся посуда под соленьями да под вареньями.

— А вы на продажу,— посоветовал я.

Мать Алексея тихо обиделась.

— Я это не умею,— ответила она не сразу.

А Робинзон принёс наточенный топор и подал его мне:

— Ступай на озеро. Сруби семёрку ёлок. Свяжи плот лыком. Спусти на сплавины. Догреби до чистоплеска. Налови окуней-горбачей. Они никогда не приедаются и лишними не бывают. Мне с тобой пойти за компанию?

— Как хотите.

На другое утро на озеро мы пришли с Робинзоном. Сухих деревьев для плота мы не нашли. Юный был лесок, и ёлки все стояли зелёные. Я представил, как буду рубить живую ёлку, увязая лезвием топора в древесной смолистой плоти, и сказал Робинзону:

— Не играют нынче окуни на озере!

Из-под руки Робинзон смотрел на воду посреди сплавин.

Лесок, берега, сплавины, как крупной камской солью, были побелены инеем.

Мы пошли домой.

Похолодало, и в этот вечер мы жарко натопили баню. Берёзовым веником Алексей стегал меня до того, что тело налилось малиновым жаром. А я его — до тех пор, пока человек не запросил пощады:

— Отдохни...

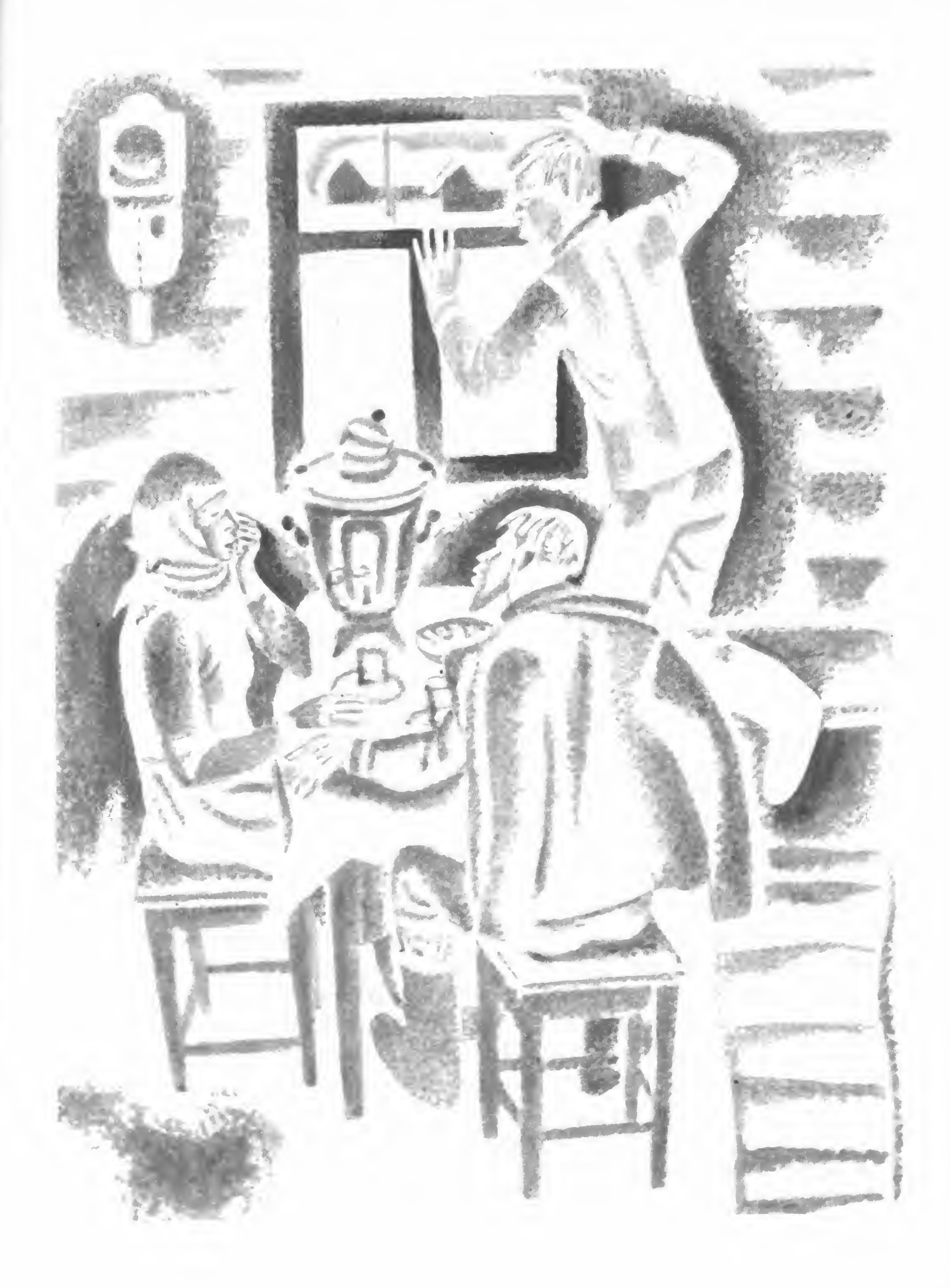
— Отдохну...

Потом мы пили чай с морошкой, и Робинзон говорил:

— Нынче выпал снег. Но это ещё не снег. Это первый снег. Обещание одно. И второй снег — это ещё не снег. Похвальба! А вот третий снег — снег! Это она — зима. Краса. Красавица.

— Долго до зимы? — спросил я.

— Да нет, недолго,— ответила мать Алексея.— Теперь уже недолго.



Перед отъездом я побывал в лесу у озера и принёс садок редкостно больших рыжиков. Хозяйка удивилась:

— Поздние, а не мёрзлые!

— Нет, не мёрзлые,— похвалил рыжики и Алексей.

— Только вот куда я девать-то их буду? — спрашивала хозяйка.— Некуда.

На огонёк пришёл Робинзон, и рыжики отдали ему.

— Да,— сказал он.— Хороши рыжики. Племяные! Кто говорил, что первый снег — это не снег? Я говорил. Разве снег это был? Ушёл. И «до свидания» не сказал. Холодов-то настоящих нет. И пусть. Надо, чтобы снег лёг на тёплую землю...

Его слушали.

Разговор в избе перед моим отъездом, как всегда, был мирным, неторопливым и обстоятельным.

ГОВОРЛИВЫЙ

«Фиу-тиу-лиу!..»

Это не иволга поёт, а между каменных берегов, как тетива, звенит Вишера.

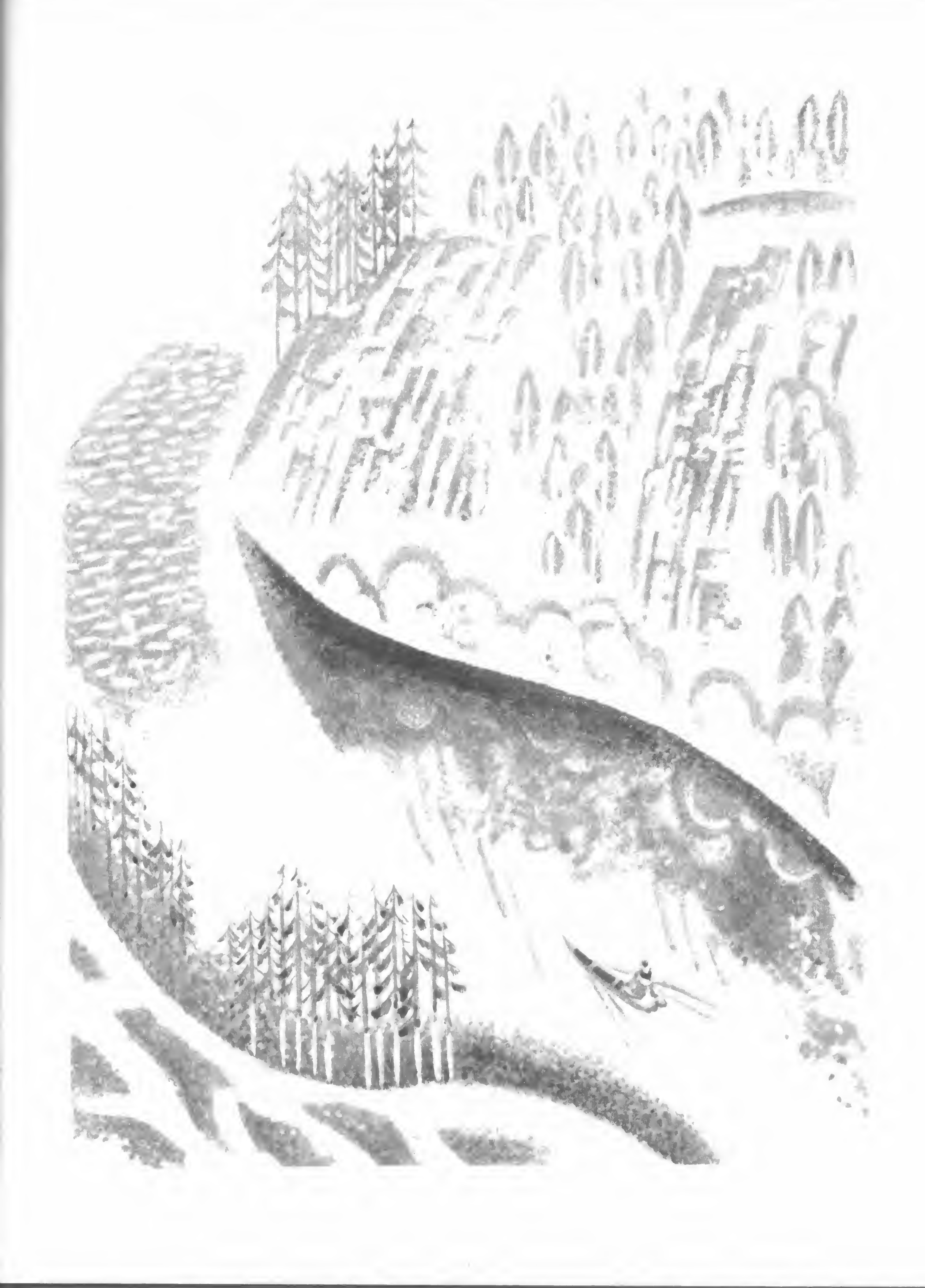
«Фиу-тиу-лиу!..»

Я поднимаюсь по реке на лодке, похожей на индейскую пирогу. Здешние лодки зовут щуками. На Каме на такой узкой щуке много не проедешь — опрокинет, захлестнёт волной. А на притоке Камы на Вишере такая лодка, как рыба в воде! Проходит пороги, кедровым днищем стучит по валунам, отскакивает от них, пружинит и сама находит ходовую — судоходную струю. Нос лодки окован железом, белым от столкновений с валунами, от бегучей воды с песком.

«Фиу-тиу-лиу!..»

Местные жители и приезжие в большинстве своём не бывали в Швейцарии, но они в один голос утверждают:

— Вишера красива, как Швейцария.



А те немногие, что бывали в Швейцарии, говорят иное:

— Какое может быть сравнение? Вишера куда красивее — слов не подобрать. Она же родная.

Горы здесь высокие — в срединной России таких нет. Народ зовёт их не громко: не горами, а камнями. Они то подступают к воде и глядятся в неё, то отступают и всё же держатся около Вишеры. У каждого камня свой характер и своё имя.

На лодке на сильном моторе я миную камень Полюд. Он смотрит на реку издалека и напоминает подножие Медного Всадника — Гром-камень. На Полюде, синем от лесов, собираются облака и вихрятся около вершины. Почему-то они любят бывать здесь, сгущаться и проливаться грозами с молниями и громами.

А я еду по Вишере, и ко мне приближается камень Ветлан. Каменные откосы падают с высоты, наплывают, а потом уплывают туманными стругами в зелёных деревьях и травах по гребню и у подножия.

И дымятся туманом среди дня.

Старые люди рассказывали мне...

Когда-то Вишера была юной девушкой, а Полюд и Ветлан богатырями-братьями и приходили свататься к ней. А она не любила ни того, ни другого, не потому что была бессердечной, а потому, что была очень юной. Витязи спрашивали Вишеру:

«Кто из нас лучше?»

«Вы оба хорошие».

«Кто тебе больше по сердцу?»

«Я не знаю...»

«Если мы сами решим, кто из нас достоин тебя, ты выйдешь за него замуж?»

«Куда денешься? Родители со свадьбой торопят...»

Полюд и Ветлан облачились в доспехи, обнажили мечи. Кто победит, тот возьмёт в жёны Вишеру. Узнала она о поединке, кинулась между ними, развела мечи... Но было поздно. Братская кровь уже пролилась, и витязи превратились в камни. А Вишера с горя сделалась рекой, и течёт она между Полюдом и Ветланом.

«Фиу-тиу-лиу!..»

На днях в горах прошли дожди. Вишера вышла из берегов, закипела, помутнела. А сегодня она успокоилась.

И я гоню на лодке по прозрачной, как роса, воде.

Дно далеко видно.

Стоп!

На полном ходу я едва не налетаю на железный понтон и еле-еле успеваю обогнуть его. Течение сталкивает понтон, а он цепляется за камешник, разворачивается и гремит.

К берегу его, пока он бед не наделал!

Я выгоняю лодку на отмель, глушу мотор, высоко закатываю мушкетёрские ботфорты резиновых сапог, иду по неглубокой Вишере. Обеими руками я берусь за холодную скобу понтона, волоку его на берег. А Вишера не пускает и недовольно бурлит около нас.

Всё!

Мне бы ехать дальше, да я вижу заросли зверобоя — целебного растения в золотых пятилепестковых цветах. Цвет у них предзимний, прощальный, и как резко, дурманно, как расточительно ярко пахнут они напоследок! Они, конечно, знают, что были заморозки и скоро ляжет снег, но не облетают. Замёрзнете ведь! А вы мне нужны для здоровья: дома по совету знакомого врача вместо чая я пью отвар зверобоя и чувствую себя бодрым.

Охотничьим ножом, как серпом, я жну стебли. Меня окликают:

— Здравствуй! Кроликам, что ли, косишь-то?

Напротив меня стоит мужичок со слезящимися глазами и в руке, как копьё, держит багор.

— Здравствуйте! Не кроликам — себе.

— Чего тебя на траву потянуло?

— Вместо чая пью...

— А что,— сочувствует мужичок,— у вас чай кончился?

— Почему кончился? Чай — само собой. А зверобой — тоже само собой.

Без особой надежды мужичок спрашивает:

— А что он — хмелит?

— Бодрит.

— Стало быть, в нём что-то есть,— оживляется мужичок.— Куда едешь-то?

— К камню Говорливому,— говорю я и отряхиваю росу с пучка зверобоя.— Эхо хочу послушать. Правда, что оно до семижды повторяет голос человека?

— До се-миж-ды?!

— Да...

— Кто же тебе наплёл? «До семижды»... На Говорливском пещера завалилась. Если один раз отзовётся — спасибо говори. А ты уши развесил: «До семижды»!

— Поехал,— хмуро говорю я.

— Прибылая вода в верхах понтонный мост сорвала. Теперь понтоны по всей Вишере ловят. Мост собирают. Ты, никак, тоже ловец?

Я молча завожу мотор.

Под винтом клубится песок. Винт чиркает о камушки и в воде из них высекает искры.

— Слуша-ааай,— спохватывается вдруг мужичок.— А ты знаешь, о чём надо Говорливский камень спрашивать?

— Нет...

— «Нет». А я знаю.

— Так скажи!

— «Кто брал хомуты?»

— Кто же их брал?

— Хомуты-то?

— Да.

— Кто же его знает? Все с давности так кричат,— улыбается мужичок.

Лодка никак не может набрать скорость — мелко здесь. Наконец она попадает на ходовую, и ветер наотмашь бьёт меня по лицу.

«Фиу-тиу-лиу!..»

Отворачиваться нельзя: ходовую потеряешь. И тогда пеняй на себя.

Вишера дышит. Над ней клубится пар. В нём слева по борту — три протяжных, как удары колокола, голубых скалы. Это и есть Говорливый.

«Фиу-тиу-лиу!..»

Вода мчится вдоль отвесной каменной стены, и я вижу, как под водой на неё наискось падают зеленовато-золотые тени. Это хариусы. Они живут только в родниковой воде. Ви-

шера омывает камень, обтачивает, ласкает его и рассказывает новости с верховий, а он слушает и не шелохнётся.

Я медленно проплываю вдоль голубого откоса, поворачиваю лодку к противоположному берегу, глушу мотор, и пирога с погрохатыванием взбегает на бичевую — на прибрежную полосу.

На погрохатывание Говорливый отзывается невнятным ворчанием.

Я выхожу на зелёную гриву между бичевой и лесом, прикладываю ладони ко рту и кричу:

— Кто брал хомуты?

«Ты!» — мгновенно отвечает камень и замолкает. Мне обидно.

Во-первых, хомуты я не брал.

Во-вторых, камень ответил мне не семижды, а единожды. А серьёзные люди уверяли, что на эхо он не скупится. Зачем обнадёжили-то?

Так со мной бывало не единожды. Наговорят, наскажут, насочиняют. А приедешь — и всё не так, не как говорено или напечатано.

Правду говорил мужичок с багром!

— «Ехал за эхом, а до эха не доехал»,— складываю я про себя и вслух.— Правильно? Да не совсем. «Ехал за эхом, а приехал — нету эха». Тоже не совсем так: эхо-то есть, да не то эхо, за которым ехал...

В траве у леса я вижу подберёзовики, срезаю их под корешок, складываю в капюшон куртки, и они, расточая сырой боровой запах, покрываются чернильными пятнами. Только что были словно из сметаны и вот почернели. От этих грибов я иного не жду — они не пропадут.

А вот Говорливый-то как?

Я вспоминаю понтон, собираюсь с духом и кричу:

— Кто наводил мосты?

«Ты! — отвечает камень и из оврага слева добавляет дробным недоверчивым раскатом: — Ты... бу... бу... бу...»

Это уже лучше. Говорливый ответил дважды!

А вот с мостами-то неловко получилось. Не наводил я их. Всего-навсего вытянул на берег понтон и ног не замочил. Понтон этот был на виду, и его без меня нашли бы. «На-

водил мосты...» Ишь какой хват выискался! Да ты близко не видел, как мосты-то наводят!

Капюшон с грибами я отношу в лодку. Около неё ждёт старушка с корзиной и кланяется мне.

— Сынок,— говорит она,— ты не перевезёшь меня на ту сторону?

— Садитесь.

— К речке Говорухе. Во-ооон туда, где полого.

Я перевожу старушку.

— Сынок,— говорит она,— ты мне уражницы не дашь?

Я знаю, что уражницей или уразницей в Прикамье зовут зверобой, и отдаю старушке весь пучок цветов.

— Сынок,— спрашивает старушка,— это не ты кричал? Не ты с Говорливым разговаривал?

— Я.

— Ты не оттуда разговаривал.

— Откуда надо?

— Встань напротив середины на Справедливое Место. В большую воду камень тебе до семижды ответит. Нынче вода упала. Но если угадаешь на Справедливое Место, он тебе трижды ответит. Грибочков не примешь от меня?

— Спасибо, мамаша. У меня их полный капюшон...

— Ну и ладно!

— От кого вы слышали о Справедливом Месте?

— От давнишних людей. Да и сама-то я давнишняя. Ох, давнишняя-яя! На одной уражнице держусь. Она мне от всего помогает. Нынче не собрала в лесу уражницы-то. Поздненько уже...

Я уезжаю на другой берег. Иду по зелёной гриве и ищу Справедливое Место. Тремя широкими слоистыми скалами камень Говорливый голубеет напротив меня. В его плавных слоях, в их струении и беге есть многое от реки Вишеры. В его тёмных нишах, вырубленных природой в каменных крутоярах, теплятся берёзы, не боятся высоты и слушают, как внизу поёт река, а наверху, на спине камня, разговаривает лес.

— Кто дарил цветы?

«Ты! — откликается камень задорным голосом и без промедления повторяет: — Ты».



А овраг слева ворчит и бормочет, как тетерев на току: «Ты... бу... бу... бу...»

Я спускаюсь на лодке, и Вишера помогает мне течением, подталкивает корму, звенит от обилия притоков, ключей и родников, а на перекатах пенится и гремит.

«Фиу... тиу... лиу...»

И постепенно смолкает.

Тихо катит воды свои в низовья. Любит она старшую сестру, равнинную Каму, и смирной становится, когда подходит к ней, застенчивой.

Робеет она перед ней — уралочка.

А я еду по Вишере на прогонистой лодке, и ветер напополам с ледяными брызгами бьёт меня по лицу.

На небе разом проступают звёзды.

Внизу голубой жилкой на виске планеты бьётся река Вишера — редкое подарение природы...

ЖАР

На полянах стоит марево, и доцветает багульник. Прежде чем увянуть, бело-розовые дурман-цветы его расточают запах камфоры, и от него кругом идёт голова.

— Пошла я нынче по дурман-цветы,— рассказывает бабушка Улита.— Хороши они от кашля, от простуды. Пошла, сомлела, угорела и повалилась без памяти. «Ну, думаю, легко умерла. Хватит, пожила, пряжи попряла, пора и честь знать». Разбудил меня ворон. Кружится и каркает. «Ну, думаю, живёхонька. Пряжи ещё напряду...»

— Много разговариваешь, бабушка Улита,— говорит лесной объездчик Исай Никандрович Головин. Он сидит на ступеньках избушки и от жары еле ворочает языком.— Помолчи пока, раз пришла в гости. Жар свалит — тогда толкуй на здоровье.

Вместе с Исаем Никандровичем я сижу на ступеньках, слышу жар лёгкими — от него трудно дышать — и жду ночи, чтобы пойти к озеру, отдышаться и подремать у воды.

Ночью я иду на озеро и оставляю во мху следы. Они тут же наполняются водой, и в каждом отражается луна.

Я сажусь на берегу, на сухой гриве и вдыхаю запах влаги. Не искупаться ли нынче? Да нет — вода теплее тёплого, прохлады она не даёт. Лучше дождаться росы и, пока роса, подремать один раз за все сутки.

Ночью я здесь не впервые спасаюсь от жары, веду себя смирно, и мало-помалу местное население привыкло ко мне. Сейчас близко от меня трудится бобр: передними лапами придерживает ветвь осины и, как на токарном станке, точит резцами, что желтеют впереди рта. Мне кажется, что этого бобра я знаю давно. Я вижу глаза бобра, заплутавшие в шерсти. В них выражение, которое бывает у человека, обременённого заботами. Надо успеть сделать и то, и другое, и третье, а дадут ли сделать-то? И ещё в его глазах тихое наслаждение работой:

«Своё дело я знаю, умею его делать и люблю. Только бы не мешали мне».

И мясистым носом он принюхивается в мою сторону. Потом обнюхивает луну и, волоча по земле жирное тело, ползёт не к озеру, а вдоль берега. Видно, хочет спросить у товарищей, почему так светло нынче? Стоит ли работать-то?

День сегодня или ночь?

Мало-помалу я обнаруживаю, что озеро моё перепутало луну с солнышком. Открылись жёлтые кувшинки и белые лилии. Караси поднимают муть, вышли кормиться, и на мелководье красно играют их бока. На том берегу в черёмушнике подают голоса дневные птицы.

Да что же это такое?

Может, и вправду сейчас день?

Я смотрю, как над озером на тёмном небе зыблется круг около белого солнышка, и прислушиваюсь к пению птиц и чавканью карасей.

День!

Но луна — не солнышко.

Она может разбудить кувшинки и лилии, поднять с посте-

ли карасей, растормошить дневных птиц, и они запоют — сперва негромко, потом всё звонче...

А согреть мир луна не может. Не под силу ей. К утру меркнет озеро. Закрывают глаза кувшинки и лилии. Ложатся на дно караси. Обнадёженные было ярким, без тепла, лунным светом, замолкают птицы. И ненадолго, как и я, засыпают.

Сквозь сон живое слышит приход солнышка.

Лес тонет в росе, чтобы прозябнуть немного, прянуть навстречу румяному, как хлеб из печи, солнышку, согреться его материнским теплом.

И вспомнить:

«Ночью-то приснилось мне солнышко или не приснилось? Или просыпался я?»

Вспомнить и забыть.

И опять — жар.

Клубится по низинам жгучая мгла. Много цветущих трав об эту пору. Земля по пояс в розовом разнотравье исходит соками и силой, и травы качаются от зноя и пчёл. Зацветают липы в лесном урочище, и сразу гаснут все запахи, кроме мёда. Плотный пчелиный гуд окутывает урочище. Думается: не пчёлы шумят, а сам воздух накалился и гудит, как огонь. От жары не спрятаться даже в погребе, где давно растаял весь снег, запасённый с весны, и стены звенят от сухости.

Исай Никандрович, бабушка Улита, что пришла на сладкое, и я с утра до ночи, кто как может, хлопочем на пасеке. Хозяин собирает мёд из ульев. Бабушка Улита разговаривает. А я кручу ручку железного сооружения, именуемого здесь «мёдогонилкой». От моих усилий из мёдогонилки капля по капле стекает в блюдо липовый мёд.

— Уж как липами-то пахнет! Как па-ааахнет! — умиляется бабушка Улита.— Шла я к вам нынче и — что ты будешь делать! — угорела. От липового-то запаха. Бочком повалилась в траву — и не встану. «Ну, думаю, померла. Легко. Как уснула...»

Бабушка передыхает, чтобы досказать, как она ожила, и в эту передышку Исай Никандрович вставляет слово:

— На моей памяти, бабушка Улита, ты так лет десять падаешь и оживаешь. Падаешь и оживаешь.

— Сколько? — конфузится гостья.

— Да, чай, лет десять,— напоминает хозяин.— Правильно, жить надо. Оживать. Чего помирать-то?

— Чай, не десять? — сомневается гостья.

— Может, и не десять,— соглашается хозяин.

Он сегодня добрый, даром что жара: мёд идёт обильно. И беседа наша проходит вечером в избе, где посредине стола стоит деревянное, грубой тёски, блюдо. А в нём светится солнышко — липовый мёд. Много его не наешь, не напьёшь — столовой ложки хватит на беседу, на вечер.

Темнеет день.

В избе летают пчёлы и не жалят нас, потому что знают: ничего мы им плохого не сделаем и тоже, как и они, работаем до износа крыльев...

Загорается звезда над лесом. И дрожит, как мигает. Будто ребёнок не проморгался ещё после сна.

Светится мёд в деревянной чаше, и вокруг неё сидим мы трое — Исай Никандрович, бабушка Улита и я.

Сидим и беседуем.

ЧЁРНЫЙ ДРОЗД

В ту осень уродилось много рябины, и по этой примете ожидались дожди. Они перепадали не сказать чтобы часто, но обещали пролиться каждый день, и небо в этом вятском урочище было невысоким и серым.

Я изучал лес и жил в избе лесника, что стояла над озером Нургуш в окружении деревьев, в том числе и дубов, редких в этом северном краю. В свободное время я ловил рыбу в протоке, что вела из озера Кривого в озеро Нургуш и не замерзала в морозы.

Протока, всплескивая, проталкивалась под мостом из брёвнышек среди тальника, местами срезанного бобрами, и рыбы в ней не замечалось до четырёх часов вечера. В четыре часа протока закипала, как кипяток, от всплесков окуней, что объ-

являлись невесть откуда. Они хорошо ловились на земляного червя — росника: успевай закидывать удочку. А потом словно кто-то давал на окунёвом языке команду:

«Отбой!»

И клёв обрывался.

Оседала муть, поднятая окунями; желтело песчаное дно; водоросли, собираясь зимовать, лежали на нём; и было непонятно, откуда приходили рыбы и куда они делись?

Как бы я ни был занят, я старался к четырём часам успеть к протоке и, помнится, не опоздал ни разу. Время было закатное, и солнце просвечивало сквозь гребни окуней. Я сажал их в ведро с водой, сверху насыпал алых листьев, и рыбы стояли смирно под золотой лиственной крышей. Только изредка, услышав плеск в протоке свободных собратьев своих, они отзывались на него вознёй, и листья в ведре ходили ходуном.

При свете дня я успевал выпотрошить окуней на столе под открытым небом. Доски, из которых сколочена столешница, были в зарубках — следах топора, косаря или ножа. Много лет на этом столе чего только не делали — вырезали вёсла и ложки, и рубили лосятину, и чистили рыбу.

По-вятски принято варить уху из окуней вместе с чешуёй — считается, так вкуснее и наваристее. Да больно жестка эта чешуя, застревает в зубах, и я, окалывая руки, соскабливал её всю, отчего охотничий нож мой из синей стали скоро тупился, и после соскабливания я направлял его на бруске.

Каждый раз за моей работой из кустов черёмухи, что наполовину закрывали стол, наблюдал Чёрный Дрозд — вольная птица, похожая на скворца. Он склонял голову, рассматривал меня то одним, то другим глазом и горлом издавал непонятный звук, который отдалённо можно сравнить с лукавым «гм» в устах человека.

Он ворочался, стараясь шуршанием листьев привлечь моё внимание, и иногда пытался подобраться ко мне незамеченным и вблизи рассмотреть меня как следует или досыта наговориться со мною.

Я возился с окунями и делал вид, что не слышу шуршания листьев и не вижу, как он подкрадывается ко мне.

Со временем Чёрный Дрозд стал разговаривать со мной.

Разговор его почти не выделялся из шорохов опадающей листвы, шума деревьев, бульканья воды в протоке. И всё-таки это был голос птицы — дружелюбный, застенчивый и не очень разнообразный.

Не поднимая головы, чтобы не вспугнуть гостя, я очищал окуней, споласкивал их в ведре, в ледяной воде, от которой ломило руки, и негромко беседовал с Чёрным Дроздом.

— Вот,— спрашивал я,— ты в здешних местах из-за рябины остался или по какой другой причине?

Дрозд замирал.

— Рябины нынче много. Я поляну заметил со стожком. Не поверишь — красным-красна от рябины. Да сладкая какая! Морозом прихватило. Как сахарным песком пересыпана. Много рябины — должно быть много дождей. А их почти и нет.

И вздыхал, оттого что нож затупился раньше времени и чешуя не поддаётся.

Вздыхал и Дрозд.

Счастливо вздыхал и так тихо, будто малый листок шелохнулся на дереве и успокоился.

— Да я не печалюсь, что дождей нет,— говорил я.— Они сейчас ни к чему...

Дрозд свистел и подвигался ко мне поближе.

— Окуней потрошу,— объяснял я ему.— Уху буду варить, хозяев кормить и сам не откажусь. Да чего я тебе это рассказываю? Ты сам каждый день видишь, что я делаю.

И добавлял:

— До зимы буду здесь. А потом — домой.

Дрозд скрипел, и в скрипе его угадывался говор скворца.

— Летом опять увидимся. Скоро по домам, а летом увидимся. Очень мне местность здешняя нравится.

Ероша перья, Дрозд подбирался ко мне совсем близко. Сухо-насухо я вытирал руки полотенцем и брал Дрозда. Он вздрагивал и обмирал в моих ладонях.

— Хорошо тебе со мной? — спрашивал я.— Руки-то у меня не холодные?

Я гладил его мягкие перья и говорил:

— Какой ты лёгонький! С виду птица как птица. Потрогать — одни пёрышки.

Он вслушивался в мой голос, и, ободрённый его вниманием, я старался говорить тише.

Дрозд выпячивал грудку, а я напоминал ему:

— Ты лучше любого человека знаешь, где много рябины и черёмухи. А черёмуха у нас крупная-прекрупная...

Действительно, крупнее здешней черёмухи мне встречать не приходилось. Иная ягода была величиной с вишню — иссиня-тёмная, блестящая, окатная. Она не приедалась, вязала во рту, и дёсны от неё становились крепче.

В подтверждение приметы о дождях, если высыпало много рябины, настоящий дождь всё-таки пришёл, и шёл он три дня — шумел по деревьям, по крыше, по столу с зарубками, на котором я некогда потрошил рыбу, и вымыл его добела, как выскоблил.

Все эти три дня я сидел дома и писал письма.

Хорошо писать, когда за окном идёт дождь и, думаю, подсказывает слова, которые без него ни за что бы не вспомнились и не легли бы в строку.

На третий день кто-то стал стучаться и скрестись в окно.

Я увидел Чёрного Дрозда. Лапками он держался за ветхую оконницу, а клювом постукивал в стекло.

Я отворил окно, опасаясь, как бы не выпала рама, и сказал:

— Заходи.

Но заходить он не решался.

И я взял мокрого Дрозда в руки, внёс в тепло избы и посадил на подоконник.

— Соскучился? — спросил я.— Не знаю, как ты, а я соскучился. Будет конец дождю или нет? Покормить тебя? Были у меня тут ягоды на печке. Погоди-ка...

Пришли хозяева, и Дрозд тут же выпорхнул в открытое окно.

А потом начались заморозки...

Лес побелел от вершин и до корней, листья с деревьев не успели опасть, а каждый лист в отдельности и все они вместе смотрелись выдышанными из тончайшего серебряного дыма.

Я ходил по морозному лесу и искал Дрозда.

Чёрного Дрозда не было.

Он, наверное, не замёрз, а отлетел, откочевал южнее — туда, где тепло и нет заморозков.

Булькала, дымилась, темнела по снегу протока из озера Кривого в озеро Нургуш, и я смотрел, как время от времени с деревьев беззвучно падали в воду серебряные листья, тут же становились красными или золотыми и, переворачиваясь, поигрывая боками, плыли, влекомые течением.

Шевелились зелёные водоросли, прежде чем отойти ко сну. Вода расчёсывала их, укладывала волос к волосу, сердилась, трепала, укладывала опять и перебирала по травинке, будто брала в руки.

Движением своим водоросли провожали всё, плывущее мимо:

«Плывите дальше. А мы остаёмся. Нам торопиться некуда».

Окуней нигде не было, и в урочный час протока не оглашалась их всплесками. Наверное, они откочевали зимовать в озёра, в зимовальные ямы. Или к перволедью рано ещё?

Тихо было в лесу. Прощально. Задумчиво.

Хотелось встретить Чёрного Дрозда, подержать его в руках и толком проститься с ним до будущего лета.

ЗВЁЗДЫ

Приходилось ли вам, читатель, жить у лесного озера — в избушке, в палатке или под открытым небом? Встречать зори утренние, провожать вечерние и ждать?

Кого?..

Если вы — человек городской, то в первую ночь вам не спалось из-за тишины. А если деревенский, то на новом месте вы прислушивались к шорохам и всплескам и думали:

«Кто это? Зверь или птица? Линь или ондатра? Или нетоптаная растёт трава? Или деревья разговаривают во сне?»

Есть у вас такое озеро, что лежит в стороне от наземных и воздушных дорог и ждёт вас?

Не обязательно озеро.

У меня оно есть.

Я добираюсь до него долго и последние километры иду по болоту. Я угадываю на сухой пятачок земли, когда за озером, за елями горит зелёная заря.

Само озеро — полная чаша воды — темнеет, но ко сну не отходит, а задумывается. Мне бы присесть на кряж и рассмотреть в подробностях, как рядом со мною краснеет и гаснет ствол старой ели, а вода озера из зелёной становится смоляной. Мне бы задержаться взглядом на поляне слева, что когда-то тоже была озером, да стала низинкой и по весне убрана золотыми купавками.

Да некогда мне присаживаться — ночлег не готов ещё. Засветло я собираю берёсту и сушняк, ставлю сошки у будущего костра...

«Приходи, Федя, пить чай, чай пить с сахаром!» — подаёт голос птица со старой ели, словно спрашивает меня: долго ли там, внизу, на земле, я ещё буду шуметь.

— Сейчас, — говорю я, всматриваюсь в сплетение ветвей и различаю гнездо.

А самой птицы я не вижу.

Я подыскиваю себе множество хлопот и не успеваю опомниться, как уже темным-темно.

Ноченька!

Я смотрю на небо. Оно белым-бело от звёзд, крупных, мелких, дымящихся. Отсюда, из лесного колодца, небо видится, как в большую подзорную трубу, чисто, ярко, бело.

Наискось через всё небо клубящейся белой рекой течёт Млечный Путь. Он обтекает синие острова и полуострова, сгущается омутами и полыхает жгучим светом.

Мало-помалу я различаю, узнаю и называю по именам созвездия и отдельные звёзды. Среди них я нахожу и мою звезду — хранительницу. Она переливается зеленоватым светом, и я говорю ей:

— Здравствуй!

«Приходи, Федя, пить чай, чай пить с сахаром», — всхлипывает во сне птица.

Я разжигаю костёр, беру котелок, добела процарапанный крупным камским песком, и спускаюсь к озеру. У камышей, где шевелится подводный родник, я набираю воду и обнаруживаю, что с водой я почерпнул красного карася.

— Ступай домой и больше не попадайся,— говорю я, выпускаю его на волю, заново набираю воду, распрямляюсь и вижу, что всё озеро — через край! — полно звёзд. Их отражения дрожат и на чистоплеске, и на росе, на прибрежной осоке. От этого берега до того пролёг пылающий Млечный Путь. Теперь и в озере я различаю созвездия и даже отдельные звёзды и называю их по именам.

Я наблюдаю за ними, как в старину наблюдали полёт птиц — смотрели в большой чан с водой, и ни одно движение пернатых не ускользало от старинного наблюдателя.

В озере, где какое-то время звёзды видятся крупнее, чем на небе, я вижу и свою звезду. Я иду на мыс, чтобы рассмотреть её ближе. Она удаляется от меня ровно настолько, насколько я приближаюсь к ней.

Теперь берег подо мной ребристый, песчаный. Я раздеваюсь и слышу телом, как из низинки тянет ветер, и я ненадолго зябну и захожу в воду греться. Ночью она кажется густой и тёплой, как парное молоко. Я ныряю, выныриваю, отфыркиваюсь, плыву.

И вот они — звёзды. На волнах, поднятых мною, толкаются у самых глаз, и не разобрать, которая из них моя хранительница.

Я устаю плыть, ложусь отдыхать на спину, раскидываю руки и погружаюсь в воду весь, кроме лица.

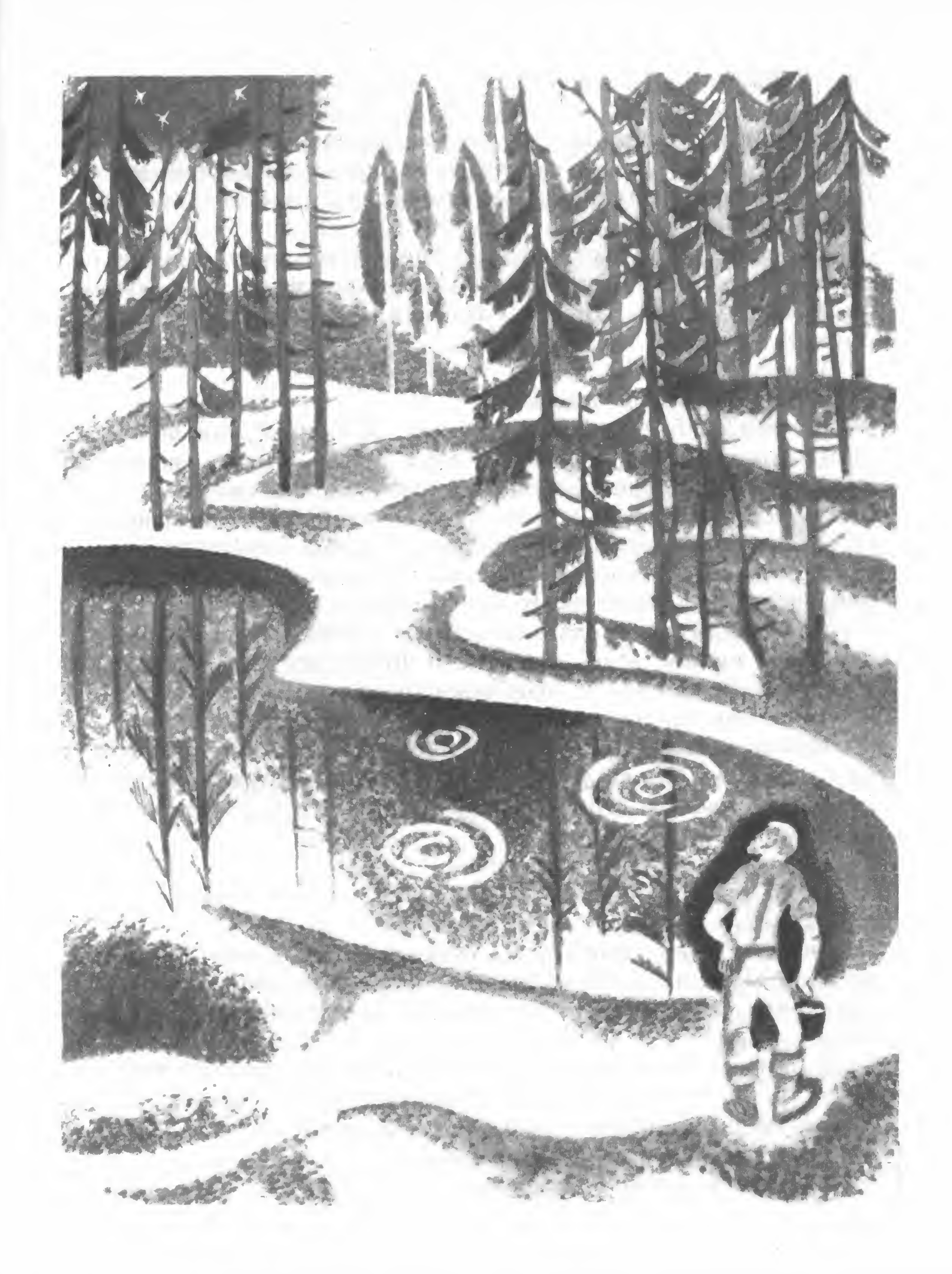
Над собой я вижу не отражённое, а настоящее небо, и, когда я закрываю глаза и качаюсь на воде, звёздный свет колет мне веки.

Я открываю глаза и вижу мою звезду. Она переживёт меня, а я не печалюсь, потому что звёзды живут дольше, чем люди, но и люди живут немало, если у них есть родная земля, небо и звёзды.

Облепленный водорослями, я вылезаю на берег, и, пока я убираю их с себя, тело моё обнимает и сушит воздушная тяга из низинки.

Я развожу костёр, и меня обступает темнота. Только





смолистый огонь и пещера, вырытая этим огнём в темноте, и я.

Потом я различаю старую ель, её лапушки и звёзды в прогалах между ними. А что, если, как в начальной школе, без промедления подняться к гнезду, что я высмотрел засветло, и заглянуть в него?

От сучка к сучку я лезу к гнезду, и хрупкие ветви потрескивают, как на огне, и небольно жгут меня. Я раздвигаю их и вижу гнездо. В нём спит птица. Она не знает, что я смотрю на неё.

Пусть спит.

Я спускаюсь на землю.

Костёр слабеет, опадает, гаснет. Я слышу, как по камышам кормятся караси и мутят воду, как дышит во сне птица, как по сырому дереву — ели — сочатся, проталкиваются в капиллярах соки жизни к ветвям из неглубоких, слабых корней её, и она набирается сил за лето, чтобы пережить зиму... И сердце моё сжимается от жалости и нежности к этой старой ели, которую я знаю много лет. К птице, что сейчас вот спит в гнезде, видит свои счастливые сны и никогда не узнает, что я глядел на неё и не сглазил. К красному карасю, что попался в мой котелок и, отпущенный на волю, так и не понял, что же с ним произошло. К траве, что, вздыхая, растёт ночью.

Природа, наверное, тоже слышит меня: толчки моего сердца отдаются в траве, дыхание моё тает в воздухе. Я для неё как всё живое и сущее, и она принимает и баюкает меня, мама моя — Природа.

Быстро светает в этом краю!

Куда всё торопится?

Зачем?..

Зелёная заря загорается с другой стороны озера, нежели вечером. Краснеет ствол старой ели, и зелёным, как крылья глухаря, светом наливаются ветви — лапушки. Тихо голубеет озеро.

В нём, как в колодце, ещё угадываются редкие звёзды, хотя на небе их нет ни одной, но я-то знаю, что они всегда есть на небе. Голубизна его северная, выцветшая, и мне думается, что когда-то она была яркой.

Разгорается утро.

Ели словно бы отодвигаются от озера, чтобы дать ему раздышаться, прогреться, понежиться, и над ним затевается и без следа пропадает белое дыхание. Озеро лежит просторное и открытое, словно вокруг него степь, а не леса и болота.

С ели слышен выспавшийся голос:

«Приходи, Федя, пить чай, чай пить с сахаром!»

— Обязательно приду,— обещаю я.— От чая я никогда не отказывался. По-ча-ёв-ни-ча-ем!

ДВОЕ В СЕДЛЕ

Зазеленела степь, и ветер издалека приносил в посёлок нежнейший, с горчинкой, запах тюльпанов.

Таня оседлала Пургу — светло-жёлтую лошадь с чёрным хвостом и гривой.

И задумалась:

— Ехать по цветы или не надо?

Укорила себя:

— Собираюсь и никак собраться не могу.

Она протяжно свистнула, и Пурга опустилась на колени. Девочка взобралась в седло, посидела, как пряжу, разбирая спутанную гриву лошади.

— Поехали, Пурга.

Та прядала ушами, а подниматься не собиралась.

— Ехать в Тихую долину далеко. Засветло приедем — к ужину вернёмся. Я тебе гриву дождевой водой вымою.

Пурга встала и пошла ни шатко, ни валко, задевая копытом о копыто, отчего подковы гремели, и было понятно, что держатся они слабо. Самое время подковать или на лето расковать кобылицу, чтобы босиком, без железной обувки побегала она по росе, чтобы ноги у неё отдохнули.

Таня встряхнула поводьями, выпрямилась и увидела, что степь раздалась, а небо стало выше и всё-таки ближе к девочке.

Озимые обступали дорогу, стлались до небосвода, лоснились, и ветер с отдыхом гнал по степи, как по морю, зелёные волны. Они подкатывались под ноги лошади, закипали прибоем и пахли хлебом. Вились жаворонки и пели песни о том, что лучше этой степи нет места на земле — во всяком случае, они не встречали лучше.

— Легче, Пурга, легче! Тебе нельзя спешить.

Но кобылица не слушала всадницу и, высоко задирая косматую голову, неслась среди холмов по Тихой долине.

Предчувствие встречи с цветами и чего-то ещё сжало и отпустило сердце Тани.

Без приказания Пурга легла на траву, и девочка, как с горки, скатилась с лошади. Таня шла по Тихой долине, а цветов не было. Она нагибалась и пальцами искала и не находила в жирной земле луковицы тюльпанов.

Местность пошла незнакомая с водороинами и овражками, каких прежде не было, и Таня остановилась. Там, где она только что прошла, следа не осталось, и трава распрямилась до малой травинки.

Да и там ли она прошла?

Куда теперь?

Пурга бы вывезла, куда надо, да не видно её.

Где же она?

Таня потерянно свистнула и не расслышала самоё себя.

Она собралась с духом, свистнула раз, другой, третий, отчётливей, звонче, и топот, словно эхо, отозвался на её усилия.

Это Пурга бежала к хозяйке, вскидывая копыта, и солнце багрово загоралось на её подковах и гасло.

— Буланая ты моя! Хорошая...

Лицом Таня прижалась к тёплому боку лошади и услышала, как в Пурге гудит тяжёлое сердце. А рядом с ним еле-еле прослушивается шевеление и толкается, быть может, сердечко быстрое, как колокольчик, как жилка на виске, когда бежишь долго-долго, а после упадёшь в траву и дышишь часто-часто и не надышишься.

— Жеребёночек.— Таня гладила упругий живот лошади.— Говорила я тебе: «Не бегай». Береги его.

Пурга пошла по Тихой долине, остановилась и тоненько заржала.

У ног её на примятом пятачке травы спал человек. Это был мальчик лет шести или семи, простоволосый, губы обмётаны — не простыл ли?

От голоса лошади он не сразу проснулся, сел, протёр глаза, не испугался ни Пурги, ни Тани, нашарил прутик около себя и принялся им стегать траву.

При этом мальчик поглядывал на Таню: дальше-то, мол, что будет?

Девочка спросила:

— Как тебя зовут?

— Мама,— ответил он и поправился.— Ой, нет, не мама — Миша.

Таня подумала: «Почему он назвал себя мамой? Он, наверное, очень любит её — маму-то свою...»

А вслух спросила:

— Ты заплутался, Миша?

Мальчуган молча хлестал траву прутиком.

— Ты не бей траву,— попросила Таня.— Ей, Миша, больно.

Он поднял на Таню глаза и спросил с насмешкой:

— Её, что ли, надо гладить? — И прибавил: — Она не заревёт.

Но сечь траву перестал, и девочка спросила:

— Тюльпаны нынче цвели? Не помнишь?

Миша подумал и ответил:

— Мама говорила: «Они позднее зацветут. Когда тепло будет».

— Ты откуда?..

— Мы из Алани.

— Так она в семи километрах отсюда! Чего же ты так далеко убежал, Миша? Заигрался? Я тебя на лошади в Алань отвезу, а потом домой.

Мальчик не удивился, когда Пурга по Таниному знаку опустилась перед ним, устроился в седле между рук наездницы, которыми она держала поводья. И был он такой маленький, что девочка боялась дышать на него и слышала, как он пахнет молоком, теплом и травой.

— Сколько тебе лет, Миша?

Он ответил:

— Наверное, шесть.

— В школу когда пойдёшь?

— На будущий год.

— Так тебе, конечно, шесть лет!

Он повернулся к ней лицом и согласился с радостью:

— Шесть! А то и семь!

— Чего это у тебя на лице? — спросила Таня и с прихлынувшей к горлу материнской нежностью рукавом стёрла жёлтую корку, обметавшую рот мальчугана. — Не заболел ты?

— Это я жавороночьи яйца пил.

— Много?! — ужаснулась Таня.

— Одно. Три. Ещё восемь.

Девочка подавленно молчала. Потом спросила:

— С кем ты живёшь, Миша?

— С мамой.

— И больше никто с вами не живёт?

— Больше никто.

— Ни одна душа?

— Кто это — душа? — не понял Миша.

Над степью в тёмном небе горели звёзды, а здесь внизу стало словно бы теснее, глуше, и то тут, то там синели холмы или строения без огней, и Таня, предоставляя Пурге самой находить дорогу, опустила поводья.

Не говоря ни слова, на ходу лошади Миша стал выбираться из седла.

— Ты куда? — Таня насилу удержала его обеими руками.

Он задышал ей в лицо горячими словами:

— Там мамка!

— Где?

— Вон меня кличет.

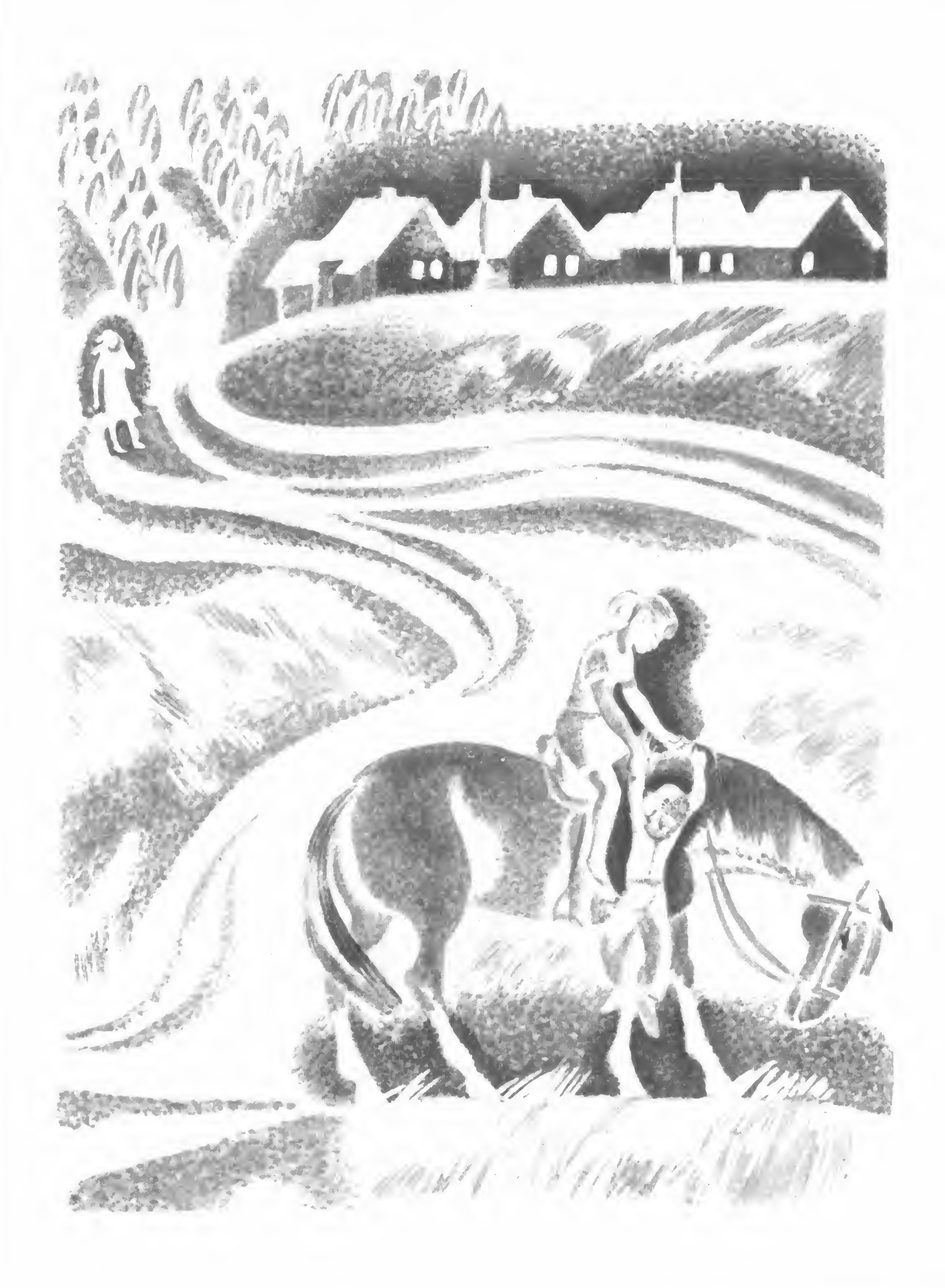
Впереди у дороги, что блестела под звёздами, как река, стояла женщина в белом платье, белела в темноте.

— Миша-ааа! Мишенька-ааа! — звала она. — Сыночко ты моё!.. Дитятко... Зёрнышко...

Таня остановила лошадь.

— Тут я! — сердито отозвался мальчуган, по ноге Пурги, как по столбу, скользнул на дорогу и побежал навстречу женщине в белом.

Мать и сын растаяли, как их и не было. Таня поехала



туда, куда по её догадке они скрылись, и деревня Алань открылась в низине слабыми огнями. Их было немного, но который из них огонь Миши, угадать было нельзя.

«Да и не надо угадывать,— подумала Таня.— А если надо? Если я ему пригожусь? Научу его чему-нибудь доброму. Или без меня научат?»

Пурга возвращалась по степи к дому, задевая копытом о копыто. Подковы хлябали, и по звуку их было понятно, что одну подкову кобылица где-то обронила. Не в Тихой ли долине, где ноги уходили в податливую землю, а травы цеплялись за одежду?

Не там ли?

Таня ёжилась в седле и всё собиралась поторопить Пургу, чтобы быстрее попасть домой, в тепло, к родителям, да не смела. Девочка представляла себе, как Миша спит сейчас под одеялом, а мать прислушивается к его дыханию и шепчет:

«Сыночко ты́ моё!.. Дитятко... Зёрнышко... Нашёлся...»

И ещё девочка представляла себе подкову, что месяцем светится в мокрой траве, и звёзды смотрят на нее, на Тихую долину, на степь с тёмного неба.



СОДЕРЖАНИЕ

Для младшего школьного возраста

Станислав Тимофеевич Романовский

ДВОЕ В СЕДЛЕ

ИБ № 3992

Ответственный редактор *Л. И. Доукша.* Художественный редактор *И. Г. Найдёнова.* Технический редактор *Л. В. Гришина.* Корректоры *А. Н. Гриберман* и *Э. Н. Сизова.* Сдано в набор 08.08.80. Подписано к печати 17.12.80. Формат 70×90¹/₁₆. Бум. для глуб. печати № 1. Шрифт обыкновенный. Печать глубокая. Усл. печ. л. 9,36. Уч.-изд. л. 7,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2097. Цена 60 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Романовский С. Т.

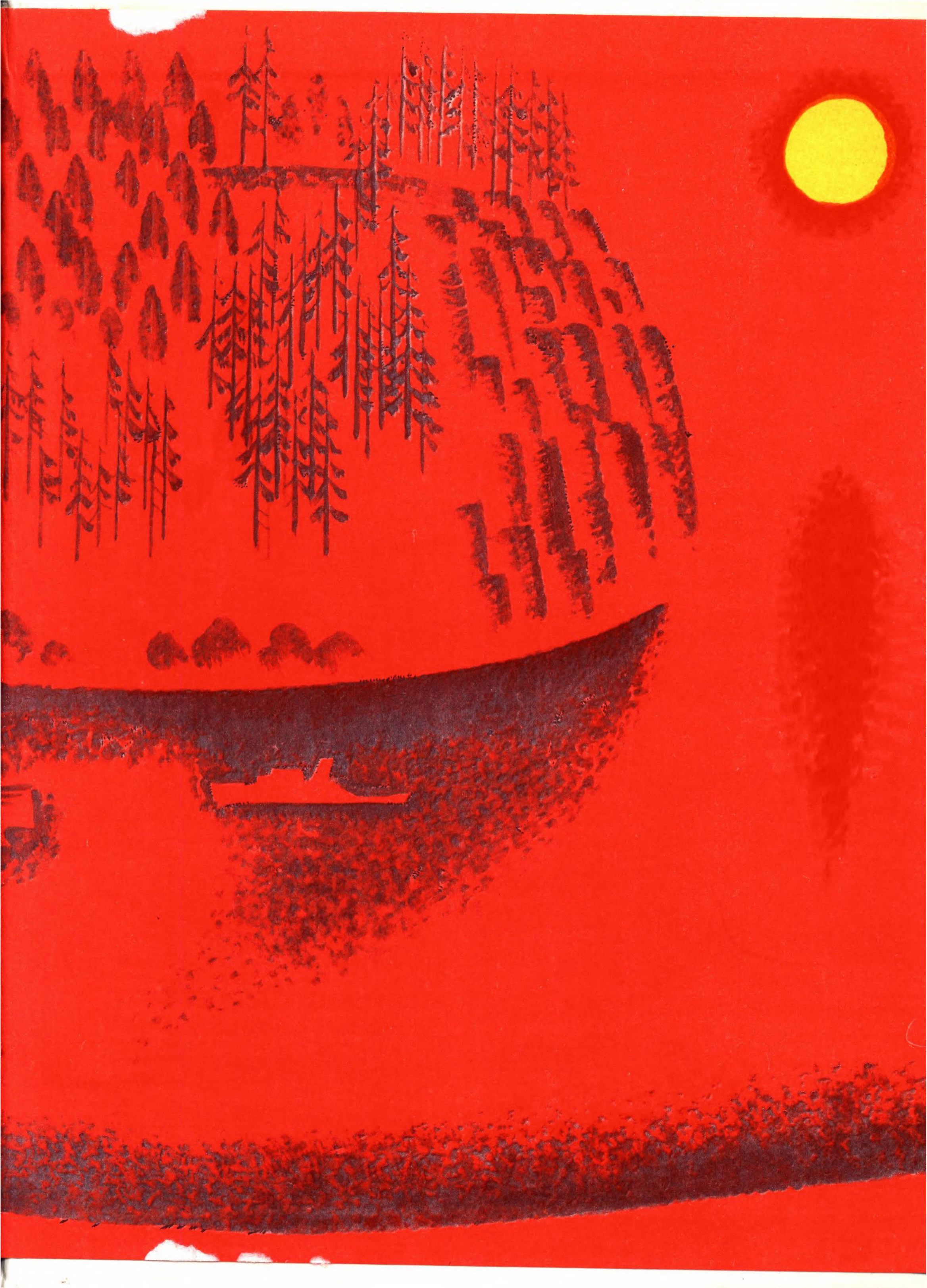
Р69 Двое в седле: Рассказы/ Рис. М. Успенской.— М.: Дет. лит., 1981.— 127 с., ил.

В пер. 60 коп.

Лирические рассказы о природе Прикамья и её людях; автор рассказывает о мальчике Алёше, отзывчивом, великодушном, в меру своих нравственных сил несущем ответственность за товарищей, за природу.

$Р\frac{70802-048}{М101(03)81}205-81$ Р2





60 коп.

